

Российская Академия Наук
Институт философии

**ПОНИМАНИЕ В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ**

Москва
2014

УДК 165
ББК 81
П 56

Ответственный редактор

член-корреспондент РАН *И.Т. Касавин*

Рецензенты:

доктор филос. наук *В.А. Колтаков*

доктор филос. наук *В.П. Филатов*

П 56 **Понимание** в кросс-культурной коммуникации [Текст] /
Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. И.Т. Касавин. –
М. : ИФ РАН, 2014. – 199 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. –
500 экз. – ISBN 978-5-9540-0273-7.

Проблема понимания – одна из основных в современной философии. Она одинаково важна и для континентальной философской традиции, которая опирается на герменевтику и гуманитарные науки, и для аналитической традиции с ее опорой на точное естествознание и натурализм. Проблема понимания является интегральной, примиряющей обе традиции и позволяющей им понять друг друга.

Авторы размышляют о философских аспектах понимания, исходя из разных перспектив. Представители аналитической традиции связывают понимание с анализом языка и прояснением языковых конструкций. Сторонники социоэпистемологического подхода размышляют о понимании в культурном и практическом контексте.

ISBN 978-5-9540-0273-7

© ИФ РАН, 2014

© Коллектив авторов, 2014

Предисловие

Сборник посвящен философскому анализу проблемы понимания, которая не страдает от безразличия к ней философов и других гуманитариев. Эта классическая эпистемологическая тема сегодня приобретает, однако, несколько иное звучание. Как замечает В.П.Филатов, «проблему понимания обычно обсуждают в связи с герменевтикой. Идущее от XIX в. противопоставление – “природу мы объясняем, историю и культуру мы понимаем” – редуцирует понимание к методологии гуманитарных наук в рамках герменевтического подхода. Однако непредубежденный взгляд подсказывает, что понимание не вмещается в этот подход даже при самой широкой его трактовке»*. В самом деле, проблема понимания сегодня равно значима как для континентальной философской традиции, которая опирается на герменевтику и гуманитарные науки, так и для аналитической традиции с ее ориентацией на точное естествознание и натурализм. Можно сказать, что проблема понимания является интегральной, объединяющей и даже примиряющей обе традиции, позволяющей им понять друг друга. Практическое значение проблемы понимания также трудно переоценить в нашем сложном и противоречивом современном мире, в котором при ускоряющихся процессах глобализации сталкиваются различные и зачастую диаметрально противоположные политические, религиозные и экономические интересы. Сложности кросс-культурных интеракций заставляют отнести к проблеме понимания со всей серьезностью: непонимание в современном «обществе риска» способно вылиться не только в автомобильную аварию или бытовую потасовку, но и в экономический кризис или даже войну.

Авторы сборника размышляют о философских аспектах понимания, исходя из разных перспектив. Представители аналитической традиции связывают понимание с анализом языка и прояснением языковых выражений. Сторонники социоэпистемологического подхода рассматривают понимание как производное от культурного и практического контекста.

* Филатов В.П. Понимание в герменевтике и за ее пределами // Эпистемология и философия науки. 2011. № 2. С. 5.

Так, А.Л.Никифоров в статье «Виды значения и понимание» рассматривает виды значения языковых выражений – денотат, смысл, оценка, научное, социокультурное, личностное – и показывает, каким образом осуществляется понимание этих значений. Анализируя связь понимания с интерпретацией, автор приходит к выводу о том, что взаимопонимание, т. е. приписывание одного и того же смысла слову двумя говорящими, возможно на уровне интерсубъективных (общекультурных) элементов смысла.

Размышляя над перспективой радикальной рационализации понимания, Т.Д.Соколова усматривает в проблеме понимания один из аспектов эпистемической нормативности, а именно существования определенных норм, на основании которых осуществляется как непосредственно познавательный процесс, так и его оценка с точки зрения таких критериев как верно/неверно, рационально/нерационально («Эпистемические нормы и проблема понимания»).

Современная аналитическая философия языка в немалой степени развивается в рамках попыток формализации синтаксиса, семантики и прагматики естественного языка. Как передать смысл, сделать его понятным и одновременно не упустить многообразных способов смыслообразования, которыми естественный язык отличается от искусственного? Можно ли формализовать те смыслы, которые языковые выражения приобретают благодаря контексту? Е.В.Вострикова в статье «Значение индексикальных выражений» рассматривает семантику индексикальных выражений, сформулированную в работах Д.Каплана. Вострикова анализирует основные свойства индексикальных выражений и обсуждает возможность смещенного прочтения индексикальных выражений в русском языке.

Статья П.С.Куслия «Проблема четвертого прочтения сообщений о верованиях» посвящена формально-семантическому исследованию так называемого четвертого прочтения для предложений о верованиях. Автор представляет экспозицию этой проблемы и показывает, что классический логико-философский анализ сообщений о верованиях в терминах *de re* и *de dicto* прочтений не учитывает все возможные прочтения, которые могут быть им присущи в естественном языке.

А.В.Мигла в статье «Значение и понимание литературного текста» анализирует две основные точки зрения, касающиеся значения вымышленных имен, которым невозможно сопоставить

объективно существующий предмет, – реалистскую и антиреалистскую. Автор обсуждает вопросы об истине в художественном произведении и о том, из каких компонентов складывается понимание художественного текста.

Статью «Река знания: о понимании как функции инфраструктурной среды» И.Т.Касавин посвящает социальной онтологии познания. Автор считает, что производство знания происходит не «в голове», не «в мозгу», а в общении разных социальных субъектов. Автор говорит о «предпарадигмальном опыте», который генерировался на коммуникативных площадках вокруг технического артефакта (от рудника и корабельной палубы до типографии и аптеки). Недооценка роли этой преднаучной инфраструктуры не позволяет понять природу современной науки как социального института, а также в полной мере осознать, что понимание есть функция реальной, в том числе предметной интеракции.

О.Е.Столярова рассматривает три варианта решения проблемы языкового перевода в философии науки, представленные, соответственно, логическим позитивизмом, постпозитивизмом и прагматизмом («Перевод и понимание: логический позитивизм, постпозитивизм, прагматизм»). Согласно автору, противоречие между синтаксическим и семантическим подходами разрешается в прагматическом синтезе за счет выведения языка на экстралингвистический уровень.

Л.А.Маркова отстаивает точку зрения о том, что природа уже не безмолвный, независимый от человека предмет познания, законы существования которого надо *познать*, чтобы использовать природу для своих потребностей. Окружающий нас мир одушевлённый, на предметы этого мира следует смотреть как на произведения, имеющие автора, которого надо *понять* и на этом основании установить с ним взаимопонимание (статья «Понимание, а не познание окружающего мира»).

В статье «Понимание в научной коммуникации» А.Ю.Антоновский формулирует социоэпистемологический тезис о том, что коммуникативные стратегии, как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях не могут не перекликаться. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают *понимание* и, как следствие, *акцептацию* запросов на

контакты. Автора интересует *сходство* в процессе *понимания*, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных *объяснений*.

Итак, вместо того, чтобы истолковывать понимание как поиск общего для всех и тривиального содержания, общезначимости слова, важно увидеть в нем уникальность и изменчивость сознания, обусловленные конкретной культурной и экзистенциальной ситуацией субъекта. Осмысленно только то, что осмыслено заново; понимание – всегда творчество, осмысление мира на свой лад; смыслообразование есть иносказание. Из уникальности смысла как продукта индивидуальной интерпретации вытекает и многообразие значений: человек, относясь творчески к употреблению языка, порождает особый мир. Смысл исчезает в рутинном восприятии слова; понимание – не что иное, как внесение нового. Нельзя понять смысл, вложенный другим, не модифицируя его. В этом отношении подлинное понимание есть сознательное непонимание оригинала путем его самостоятельного переосмысления. Отсюда неверно, что простое понимание смысла слова позволяет адекватно действовать. Лишь более глубокое понимание, оперативно учитывающее детали изменяющейся конкретной ситуации, влечет адекватное действие. Когда кто-то говорит, что понимает смысл высказывания так же, как и другие, он имеет в виду некоторый тривиальный пласт значения и смысла, достаточный для стандартных ситуаций поведения и общения. В них люди действуют и мыслят как автоматы, а не как одушевленные индивиды, они играют социальные роли, а не реализуют свое творческое начало. Глубина понимания изолирует субъекта от других; мудрец живет в пустыне, наслаждается одиночеством и рассказывает непонятные притчи. Так смысл вообще связан со смыслом индивидуальной жизни.

В конечном и высшем счете понимание выступает развитой формой теоретического, критического и философско-энциклопедического мышления, определяющего выражение, действие и всякое событие в многообразных контекстах. Именно так и Гегель, и Гуссерль понимали задачу философской рефлексии, устанавливающей высокую планку смысла перед миром и человеком.

В Приложении вниманию читателей предлагается глава «Об отношении научного объединения к государству» из книги Фридриха Шлейермахера «Идея немецкого университета» в переводе А.Ю. Антоновского.

И.Т. Касавин, О.Е. Столярова

А.Л. Никифоров

Виды значения и понимание*

Alexander Nikiforov. Types of Meaning and Understanding

В статье рассматриваются виды значения языковых выражений – денотат, смысл, оценка; научное, социокультурное, личностное – и показывается, каким образом осуществляется понимание этих значений. Анализируется связь понимания с интерпретацией. Автор приходит к выводу о том, что полное взаимопонимание между людьми невозможно.

Ключевые слова: понимание, интерпретация, значение, смысл, оценка, идеология

The article explores types of meaning of linguistic expressions such as denotation, sense, evaluation and also the scientific, the social-cultural, the personal. The author addresses the question of how understanding of these types of meaning is realized. The connection of understanding and interpretation is analyzed. The author comes to the conclusion that mutual understanding among people is impossible in its fullness.

Keywords: understanding, interpretation, meaning, sense, evaluation, ideology

Для того чтобы что-то сказать о связи значения с пониманием, нужно придать более или менее определенный смысл понятию понимания, которое до сих пор используется весьма расплывчато; затем следует хотя бы в общих чертах представить себе, как рассматривается значение языковых выражений в современной философии языка и логической семантике; лишь после этого можно будет что-то сказать о том, существует ли взаимосвязь между истолкованием значения языковых выражений и их пониманием.

* Подготовлено при поддержке РФНФ, проект № 12-03-00588.

1. Понимание как интерпретация

Анализом понятия «понимание» традиционно занималась герменевтика. Как известно, Ф.Шлейермахер считал, что понять исторический текст значит проникнуть в духовный мир творца этого текста и повторить его творческий акт. Для В.Дильтея понимание было специфическим методом общественных наук, методом психологической реконструкции духовного мира человека прошлого и переноса его в настоящее. Последователи Шлейермахера и Дильтея до сих пор склонны говорить о понимании как о «вчувствовании» в духовный мир другого человека, как об «эмпатическом со-переживании» его мыслей и чувств¹. Не останавливаясь на анализе истолкований подобного рода, отметим следующее. Все они и многие современные определения понятия понимания опираются на одну, очень простую и привычную идею:

понять текст (языковое выражение) значит открыть (усвоить, постигнуть) смысл этого текста.

Дело представляется приблизительно следующим образом. Имеется некоторый текст. Автор текста вложил в него определенное содержание, т. е. какие-то свои мысли, образы, чувства. Текст несет в себе эти мысли и чувства. Понять текст значит открыть и усвоить его содержание, пережить то духовно-душевное состояние, которое переживал автор текста в момент его создания. Именно в этом смысле понятие понимания употребляется в обыденном языке, используется в герменевтике и философской литературе. Такое его истолкование можно назвать традиционным.

Нетрудно заметить, что в основе традиционного истолкования понимания лежит предположение о том, что один человек всегда и вполне способен выразить свои мысли и чувства в чем-то внешнем – в звуках или знаках, а другой человек способен всегда и вполне открыть вложенные в звуки переживания и сам пережить то, что переживал первый субъект. Как только это предположение сформулировано в явном виде, сразу же становится видно, что оно ошибочно, что это – иллюзия. И развеивают эту иллюзию как раз те люди, которые специально и профессионально заняты тем, что свои мысли и чувства пытаются выразить в каком-то внешнем и общедоступном материале. Не свидетельствуют ли о трудностях такого выражения черновики писателей? По-видимому, наиболее остро их переживают поэты:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь:
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи –
Питайся ими – и молчи!

Ф.И.Тютчев

Но и философы неоднократно обращали внимание на трудности выражения. «Язык переодевает мысли, – писал, например, Л.Витгенштейн. – И при том так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переодетой мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаруживать форму тела. Молчаливые соглашения для понимания разговорного языка чрезмерно усложнены»². В лучшем случае человек лишь отчасти способен выразить в слове свои мысли и переживания.

Осознание этого помогает нам отделить человека от его творчества. В процессе понимания отнюдь не происходит непосредственного соприкосновения двух душ. Внешняя форма выражения мыслей и чувств человека отрывается от своего создателя и начинает существовать самостоятельно, со всем тем – и только тем, – что удалось вложить в нее в процессе творчества. Творец и сам может не знать, удалось ли и в какой степени удалось ему реализовать свой замысел. И в процессе понимания мы имеем дело с языком, а не с душой человека, использующего язык.

Как же мы понимаем языковой текст? Сразу же бросается в глаза, что разные люди одно и то же понимают по-разному. Если взять, к примеру, художественное произведение, то едва ли найдутся хотя бы два человека, которые понимают его совершенно одинаково. Особенно ярко это проявляется в понимании драматургических произведений. В театре постоянно говорят о том или ином «прочтении» пьесы, о той или иной «интерпретации» роли актером и т. п., в сущности – о разных пониманиях текста пьесы. Вот, скажем, пьесы Шекспира – изучены до последней запятой, сотни постановок во всех странах мира, необозримое число литературоведческих работ. Казалось бы, за сотни лет должно было выработаться некое единое понимание. Но нет! В тбилисском театре им. Ш.Руставели актер Хорава делает из Отелло воина и философа, борца со злом. В его исполнении Отелло действительно не ревнив,

как заметил Пушкин, а лишь доверчив. Поверив Яго, он судит и выносит приговор: лицемерие, ложь, предательство должны быть наказаны, поэтому Дездемона должна умереть. Отелло в такой интерпретации – жертва собственной чистоты и благородства.

Отелло Лоуренса Оливье в лондонском театре «Олд-Вик» – более простая и цельная натура. Любовь к Дездемоне, в сущности, исчерпывает всю его духовную жизнь, поэтому когда эта любовь оказывается подорванной, его дух помрачается и душа пропитывается ненавистью. У Оливье Отелло не столько доверчив, сколько именно ревнив. И ревность его становится злом, убивающим Дездемону. В такой интерпретации Отелло – сам носитель зла, он не только жертва Яго, но и палач Дездемоны. Вот почти два противоположных понимания одного образа, одного текста: Отелло – мужественный судья и борец со злом и Отелло – ослепший от ревности палач, носитель зла. Можно сказать даже больше: возможность различных пониманий одного текста, возможность наполнить старый текст, известные образы новым, более современным и актуальным содержанием – это основа театрального искусства. Если бы текст допускал только одно понимание, театр был бы не более чем ремеслом.

Итак, в процессе понимания мы интерпретируем текст, который пытаемся понять. В герменевтике под интерпретацией часто имеют в виду открытие и реконструкцию мыслей и чувств автора. Но существует и другое истолкование интерпретации. В логике интерпретацией называют приписывание значения исходным символам формального исчисления, благодаря чему все выражения этого исчисления приобретают смысл и игра с символами превращается в язык, описывающий некоторую область объектов. Возьмем, например, выражение « $A \rightarrow B$ ». О чем оно говорит? До тех пор, пока мы не дали интерпретацию, оно лишено содержательного смысла, это просто три символа, отличающиеся друг от друга графически и записанные слева направо. Интерпретируем наши символы: пусть A и B будут обозначать какие-то события, а « \rightarrow » – следование событий во времени. Тогда наше выражение станет предложением, которое можно оценивать как истинное или ложное: «Событие A произошло раньше, чем событие B ». Можно интерпретировать « \rightarrow » как отношение причинной связи. В такой интерпретации наше выражение будет означать: «Событие A причинно влечет событие B ».

Здесь важно обратить внимание на то, что если речь идет об интерпретации, то подразумевается, что мы имеем дело с неинтерпретированным, т. е. лишенным смысла материалом. Приняв, что понимание представляет собой интерпретацию, а интерпретация наделяет смыслом лишенный его материал, мы получим вывод о том, что *понимание есть придание, приписывание смысла тому, что мы пытаемся понять.*

В разговорном языке слово «понять» имеет два разных смысловых оттенка: «понять» иногда означает «усвоить смысл», «достигнуть содержание», но это слово употребляется еще и в значении «осмыслить», «истолковать», «интерпретировать», «придать смысл». Герменевтика, кажется, не различает этих оттенков и ориентируется, в основном, на первое употребление. Но с точки зрения логической семантики второе истолкование кажется более предпочтительным.

Понимание как интерпретация, т. е. придание смысла понимаемому тексту, осуществляется, по-видимому, обычным гипотетико-дедуктивным способом. Материал, как правило, допускает множество интерпретаций, мы выбираем одну из них или изобретаем новую. Пытаясь, например, перевести фразу с иностранного языка на русский, мы начинаем с установления значений слов, из которых она состоит. В словаре обычно дается несколько различных значений. Если у нас нет никакого предварительного представления о смысле фразы, мы выбираем любое из них, а затем смотрим, как выбранное значение согласуется со значениями других слов – получается ли осмысленная фраза на русском языке? Опираясь на постепенно складывающийся смысл всей фразы, мы уточняем значения отдельных слов и благодаря этому уточняем смысл всей фразы. Это и есть известный «герменевтический круг»: чтобы понять целое, мы должны понять элементы, но понимание отдельных элементов определяется пониманием целого. То же самое можно описать иначе: мы выдвигаем гипотезу о том, какое значение следует приписать некоторому слову; затем проверяем эту гипотезу, рассматривая остальные слова, корректируем ее, если первоначально избранное значение не вполне согласуется со смыслом всей фразы, и останавливаемся, достигнув соответствия значений отдельных слов и фразы в целом. Точно так же действует и актер: он начинает с некоторой интерпретации образа, а затем проверяет, согласуется

ли эта интерпретация со всем текстом пьесы и с интерпретациями других ее персонажей. В процессе этих проверок он корректирует и уточняет свою первоначальную интерпретацию.

Здесь напрашивается вопрос: не можем ли мы ошибиться при выборе интерпретации? Можно ли вообще говорить о «правильной» или «неправильной» интерпретации? Допустим, у нас есть некоторый текст. Автор текста придал ему определенную интерпретацию. Не обязаны ли мы потребовать, чтобы интерпретация текста другими людьми совпадала с интерпретацией автора и только в этом случае говорить о «правильном» понимании? Небольшое размышление показывает, что такое требование неприемлемо. Единственное, чего мы можем требовать, – это чтобы наша интерпретация согласовалась со всеми данными, т. е. смысл, приписываемый нами отдельным словам, должен согласоваться с содержанием текста в целом, а интерпретация текста находилась в соответствии с другими текстами того же автора, с его биографическими данными, с событиями общественной и культурной жизни его эпохи. Интерпретация автора является одной из возможных, и если нам удалось дать интерпретацию, соответствующую всем имеющимся данным, то она ничуть не менее правомерна, чем интерпретация автора. На его возражения против нашей интерпретации мы можем ответить, что он сам как следует не понимает того, что написал. Кто сталкивался с критиками и редакторами, тот знает, что такое случается довольно часто.

2. Индивидуальная основа понимания

Смыслы, которые индивид приписывает языковым выражениям, он черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуально-личностного сознания. Этот мир формируется в процессе чувственно-практического знакомства с окружающими предметами и явлениями, освоения языка, культуры и включает в себя чувственные и абстрактные образы, связи между ними, знания, верования индивида, его идеалы и ценности. В этот мир наряду с образами реальных и чувственно-воспринимаемых вещей входят представления об абстрактных объектах. Они соседствуют с образами, созданными воображением художников и поэтов, причем зачастую более яркими и полнокровными, чем образы реальных людей и предметов.

В нем звучит вся музыка, слышанная и любимая нами. И все образы этого мира теснятся вокруг единого центра, дающего им жизнь, – индивидуального «я», которое связано с каждым элементом определенным оценочным отношением. Одни образы дороги, приятны нам, другие – отвратительны, третьи – оставляют равнодушными. Направленный луч сознания высвечивает отдельные фрагменты этого мира, оставляя в тени все остальное. Внутренний мир подвижен как пламя: каждое новое воздействие извне, новое впечатление, мысль заставляют его дрожать и колебаться. И весь он – насыщенный звуками, играющий красками, светлый и печальный, необозримый и изменчивый как море – весь он сверкает и переливается под солнцем нашего «я»!

Назовем этот мир индивидуального сознания «индивидуальным смысловым контекстом». Этот контекст представляет собой систему взаимосвязанных смысловых единиц, содержание которых определено их местом в контексте, т. е. их связями с другими единицами и отношением к индивидуальному «я». Встречая языковое выражение, индивид включает его в свой смысловой контекст, ассоциируя с ним определенную смысловую единицу и придавая ему, таким образом, определенную интерпретацию.

Здесь, правда, перед нами встает проблема, которую вполне осознавал уже Г.Риккерт. Если каждый индивид обладает своим собственным смысловым контекстом и контексты разных индивидов различны, если, далее, интерпретация и смысл всех языковых выражений определяются индивидуальным контекстом, то разные индивиды будут одним и тем же словам и предложениям придавать разные содержания. И мы видели, что это действительно имеет место. Но как же тогда возможна коммуникация? Как согласовать этот плюрализм интерпретаций с тем очевидным фактом, что люди в общем как-то понимают друг друга, часто могут договориться между собой, действуя совместно?

Решение этой проблемы следует искать в анализе природы индивидуального смыслового контекста. Этот контекст, или духовный мир личности, представляет собой картину окружающего мира, создаваемого в значительной мере в результате работы органов чувств. Строение органов чувств у всех людей одинаково, поэтому индивидуальные контексты разных людей должны быть сходны между собой, как сходна их физиологическая организация.

Еще более важно то, что все мы – члены одного общества, дети одной культуры. Овладевая в детстве языком, мы учимся наделять слова и предложения приблизительно одинаковым смыслом – тем, которым их принято наделять в данное время и в данном обществе. Повседневная практика, дающая нам обыденное, житейское знание вещей и явлений, в значительной степени у людей одинакова. Мы учимся по одним учебникам и усваиваем то, что открыли нам Евклид и Лобачевский, Коперник и Эйнштейн, Дарвин и Менделеев. Наша повседневная жизнь и повседневный труд замкнуты в одни и те же формы, мы ездим в автомобилях, отличающихся только номерными знаками, стоим в одних и тех же очередях, живем в типовых домах и квартирах. Общество прививает нам определенные правила поведения в тех или иных типичных ситуациях, внушает нам господствующие в данное время идеалы и нормы, навязывает одинаковые цели и стремления. В силу всего этого духовная жизнь отдельных индивидов и их смысловые контексты отличаются весьма незначительно. Искры оригинальности, изредка вспыхивающие в людях, не могут серьезно помешать общению.

Тем не менее некоторые различия в индивидуальных контекстах все-таки есть и их следует учитывать, говоря о понимании. Личный жизненный опыт у людей хотя во многом одинаков, но у каждого он имеет свои неповторимые особенности. Общественная культура для всех одна, но усваиваем мы ее по-разному и черпаем из разных источников: один оказывается эрудитом в области электроники, душу другого переполняют стихи, один стремится сколотить капитал, другой изучает иностранные языки... Различия в воспитании, образовании, повседневной практике отдельных людей запечатлеваются в их индивидуальных контекстах. Сюда же добавляются и различия в жизненных целях и в отношении к внешнему окружению. Таким образом, смысловые единицы индивидуального контекста, хотя и образуются в результате усвоения индивидом культуры общества, не будут вполне тождественными у разных индивидов, включая в себя субъективный опыт, субъективное отношение к вещам и их оценку, – то, что А.Н.Леонтьев обозначал понятием «личностного смысла»: «...общественно выработанные значения, – писал он, – начинают жить в сознании индивида как бы двойной жизнью... Вот это-то обстоятельство и ставит психологию перед необходимостью различать сознаваемое».

мое объективное значение и его значение для субъекта. Чтобы избежать удвоения терминов, я предпочитаю говорить в последнем смысле о *личностном смысле*»³.

3. Значение, смысл, понимание

Оставим пока в стороне личностный смысл и обратимся к тому, что А.Н.Леонтьев называет «общественно выработанными значениями». Логическая семантика не обсуждает вопроса о том, как возникают эти «общественно выработанные значения», и опирается на допущение о том, что слова и предложения имеют значение сами по себе и понять их – значит открыть это значение. В сущности, при этом понимание сводится к знанию: понять некоторое языковое выражение значит узнать, каково его значение. Ясно, что истолкование понимания будет здесь зависеть от того, как истолковывается значение языковых выражений.

Начнем с той теории значения, восходящей к Г.Фреге, которая сводит значение языковых выражений к *предметному* значению, иначе говоря, к референту. Слова и предложения рассматриваются как обозначения. Слова и словосочетания оказываются именами единичных предметов, их множеств, свойств и отношений.

Единичные имена «Петя», «Париж», «Монблан» и т. п. обозначают конкретные предметы – некоего молодого человека, столицу Франции, высочайшую горную вершину Европы. Понять такое имя значит узнать, какой именно предмет оно обозначает. Общие термины «человек», «город», «гора» обозначают некоторое множество предметов – множество людей, городов, гор. Понять такой термин значит узнать, какое множество он обозначает. То же самое относится к терминам, обозначающим свойства и отношения.

Предложение в данной теории также рассматривается как некое обозначение. Что же оно обозначает? – Фреге полагал, что предложения обозначают всего лишь два особых предмета – истину или ложь. Тогда понять предложение значит узнать, истинно оно или ложно. Такой вывод кажется совершенно парадоксальным. Допустим, кто-то произносит: «Der Schnee ist weiss» и добавляет при этом, что данное предложение истинно, т. е. что оно обозначает истину. Сочтете ли вы, что этого достаточно для понимания? Едва

ли. Здесь мы вынуждены признать, что предложение обозначает не истину или ложь, а некоторую ситуацию, положение дел, и понять предложение значит узнать, какое положение дел оно обозначает. Если мне скажут, что приведенное выше предложение обозначает ту же ситуацию, что и русское предложение «Снег бел», тогда я могу признать, что понял это предложение.

Можно было бы продолжать, но, по-видимому, и так уже ясно. Если язык в целом рассматривается как обозначение реальности, а его отдельные элементы – слова и предложения – как обозначения предметов, множеств предметов и ситуаций, то проблема понимания языковых выражений решается просто: понять языковое выражение значит узнать, что оно обозначает, к каким объектам его можно относить.

Эта точка зрения привлекает своей простотой и кажущейся ясностью, однако она опирается на весьма сомнительное допущение. Здесь неявно предполагается, что независимо от познающего субъекта и языка сами по себе существуют предметы и ситуации, причем эти предметы и ситуации воспринимаются всеми людьми одинаково. Иначе говоря, если люди разных культур, говорящие на разных языках смотрят на что-то и произносят кто «sun», кто «Sonne», кто «солнце», то все они разными словами обозначают один и тот же предмет. Слова – лишь бирки, которые разные народы прикрепляют к тождественным для всех предметам. По-видимому, это предположение чрезвычайно сомнительно.

Сомнения возрастают, если мы обратим внимание на то, что большая часть наших слов-существительных обозначает идеальные, абстрактные, воображаемые объекты, которых в реальности не существует, на которые нельзя указать пальцем. Какие, например, предметы обозначают такие слова, как «совесть», «доброта», «красота» или «материальная точка», «число 5», «Отелло»? Таких предметов, которые мог бы чувственно воспринять каждый человек, к которым он мог бы отнести эти слова, нет в реальности. Но тогда что значит понимать такие выражения? Ведь нельзя уже сказать, что понять их значит узнать, какие объекты они обозначают. Объектов-то ведь нет! Можно ли сказать, что мы не понимаем таких слов? Вообще говоря, можно, но тогда придется признать, что мы не понимаем большей части нашего языка, ибо большая часть его выражений и предложений говорит о несуществующих и аб-

страктных объектах. Даже эту трудность можно было бы обойти, но мы сейчас не будем на этом останавливаться и примем допущение, что люди все-таки понимают выражения, относящиеся к несуществующим объектам.

Тогда придется отказаться от предположения о том, что понять некоторое выражение значит узнать, какой объект оно обозначает. Тогда понимание нужно истолковать как-то иначе. Языковые выражения иногда используются для обозначения каких-то объектов, однако обозначающая функция языка является отнюдь не основной, не главной. Гораздо важнее то, что язык служит для накопления, хранения и передачи информации, и когда мы обмениваемся словами, мы не столько хотим указать на какие-то обозначаемые ими объекты, сколько хотим передать некую информацию. Поэтому понять выражение значит постигнуть (узнать, открыть, усвоить) эту информацию. Будем считать, что информация, носителем которой является языковое выражение, воплощена в его смысле. Что он собой представляет?

Возьмем простой пример. Встречаете вы предложение: «Нити в лампах накаливания изготавливают из вольфрама». Вам непонятно слово «вольфрам», вы просите объяснить, что оно означает. Много ли вы поймете, если вам покажут кусок тяжелого светло-серого металла? Кое-что вы, конечно, поймете: это слово обозначает какой-то тяжелый металл. Однако смысл этого слова включает в себя не только указание на какой-то внешний объект, он содержит еще и многое другое – информацию, наши знания о вольфраме: вольфрам – химический элемент VI группы периодической системы Менделеева, атомный номер 74, светло-серый, очень тяжелый металл, наиболее тугоплавкий из металлов, температура плавления 3410 градусов Цельсия, входит в состав жаропрочных сверхтвердых сталей и т. д. Вот это раскрытие смысла достаточно простого слова ясно показывает, что указание на обозначаемый объект является лишь очень малой частью смысла, и понять слово значит не только узнать, к какому предмету оно относится, но и какое место занимает этот предмет в нашей культуре.

Попробуем представить смысл слова в виде набора некоторых характеристик обозначаемого им объекта. Скажем, чувственно воспринимаемые свойства обозначим буквами А1, А2, ... ; научные знания – буквами Б1, Б2, ... Тогда смысл нашего вольфрама

будет выглядеть следующим образом: А1 (металл), А2 (тяжелый), А3 (светло-серый); В1 (химический элемент), В2 (входящий в VI группу периодической системы), В3 (атомный номер 74), В4 (наиболее тугоплавкий из металлов). В целом это будет выглядеть как набор предикатов, приписываемых некоторому объекту: (А1, А2, А3; В1, В2, В3, В4) вольфрам. Таким образом, понять слово «вольфрам» значит узнать, какой набор характеристик входит в его смысл.

К сожалению, это еще не все. Каждое слово естественного языка (да и научные термины) входит в определенное семантическое поле, т. е. в некоторое множество связанных с ним разнообразными смысловыми связями слов, и эти связи внутри семантического поля также включаются в смысл слова. Возьмем, например, слово «юноша». В смысл этого слова входят какие-то внешние характеристики, по которым мы выделяем юношей среди других людей. В этот смысл входят также и какие-то научные данные о юношеском организме. Но это слово входит в семантическое поле, состоящее из таких слов, как «мальчик», «взрослый человек», «пожилой человек», «старик», «девушка» и т. п. Связи с этими словами, указывающими место юноши в возрастной и половой классификации людей, также включаются в смысл слова «юноша». Обозначим эти элементы смысла буквами В1, В2, В3...

По-видимому, в языке как некоторой системе, воплощающей знания и культуру общества, смысл слов, в основном, исчерпывается элементами этих трех типов – чувственно-воспринимаемыми особенностями, научными знаниями и семантическими связями с другими словами. Это как раз то, что А.Н.Леонтьев называл «общественно выработанными значениями» – представленными в словарях и энциклопедиях. Однако каждый человек, употребляющий язык, добавляет к его общественно выработанному смыслу еще свой, «личностный» смысл. Взрослый человек вкладывает в слово «юноша» что-то свое, девушка придает этому слову свой смысл и т. д. Личностные элементы смысла обозначим буквами Г1, Г2, ...

Наконец, слово произносится в определенной ситуации или, как иногда говорят, в определенном контексте, и эта ситуация также вносит какие-то дополнительные элементы в его смысл или изменяет значимость элементов смысла. Например, в одной ситуации мы говорим о чае как о кустарнике, в другом – как о напитке. В обоих случаях смысл слова «чай» будет, в основном, сохраняться,

но главными в этом смысле в одном случае будут одни характеристики, в другом случае – иные. А когда кто-то произносит: «Ну что вы меня только чаем-то поите!», то он вносит в смысл этого слова какие-то дополнительные черты. Обозначим контекстуальные смысловые характеристики буквами Д1, Д2, ...

В итоге мы приходим к осознанию того, что смысл слова имеет весьма сложную структуру и состоит из элементов по крайней мере пяти разных типов. Тогда понять некоторое слово означает связать с ним смысл, состоящий из этого сложного набора элементов. В данном случае нам важно обратить внимание на то, что эти наборы разделяются на две группы: интерсубъективные (общекультурные, объективные) характеристики, выражающие тот смысл, который связывает с данным словом общество, и субъективные (контекстуальные, ситуативные) характеристики – тот личностный смысл, который вкладывает в данное слово употребляющий его индивид. Интерсубъективное значение слова вырабатывается на протяжении веков в процессе исторического развития общества. Оно предстает перед отдельным индивидом как некая данность, которую он должен усвоить в процессе овладения языком. Значение не принадлежит самим по себе знакам или звукам: сколько бы вы ни вглядывались в набор букв «стол» или ни вслушивались в соответствующие звуки, вы не откроете, что эти знаки или звуки говорят о предмете домашнего обихода. Общество связало с этим набором знаков определенный смысл. И можно сказать, общество придало определенную интерпретацию этому самому по себе бессмысленному набору. О том, как это происходило, говорят нам языкознание и история.

Таким образом, понимание всегда есть интерпретация – интерпретатором выступает либо общество в целом (для интерсубъективной части смысла), либо отдельный индивид (для личностной части смысла).

4. Понимание предметно-оценочных терминов и текстов

До сих пор, обсуждая проблему понимания, мы оставались в рамках семантики языка. Однако помимо семантического, предметного значения слова естественного языка при употреблении их

в речи часто включают в свое содержание оценочный элемент. Понимание оценочной стороны наших слов представляет собой особую проблему.

С точки зрения употребления можно выделить три разных класса слов.

Во-первых, это слова, обладающие обычным предметным или семантическим значением: «дерево», «дом», «император», «писатель», «пенсионер», «реформа», «белый», «круглый», «теплый» и т. п. Значением этих слов считается обозначаемый ими предмет или класс предметов, смыслом – совокупность некоторых характерных черт обозначаемых предметов, позволяющих выделять их из окружающего мира.

Ко второму классу относятся слова, выражающие наше отношение к окружающим вещам и явлениям, их оценку: «красивый», «полезный», «безобразный», «уродливый», «удобный» и т. п.

Соединение слов первого класса с оценками дает предложение: «Дом удобный», «Реформа полезна», «Писатель хороший» и т. п.

Особый интерес представляет третий класс, состоящий из таких слов, которые обозначают какие-то предметы и явления, т. е. обладают предметным значением, и одновременно выражают оценку этих предметов говорящим. Например, в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова мы читаем: «*Пособник* – помощник в дурных, преступных действиях»; «*Сподвижник* – помощник в деятельности на каком-нибудь поприще, соратник». Слова «пособник» и «сподвижник» по своему предметному, семантическому значению совпадают – это помощник в каком-нибудь деле, однако они выражают разное отношение говорящего к этому «помощнику». В смысл таких слов наряду с объективными признаками предметов включена еще и оценка этих предметов. Таковы, например, слова «самоуправство», «сговор», «военщина», «произвол», «лихачество» и т. п. Слово «военщина» по своему предметному значению совпадает со словом «военные» и обозначает совокупность людей, профессионально служащих в армии, однако в смысл этого слова вдобавок включается и негативное отношение к военным.

Наличие таких слов в повседневном языке вполне естественно: язык не только задает (или описывает) определенную картину окружающего мира, но несет в себе и наше отношение к этому миру, нашу оценку вещей и явлений. И выражение этого отноше-

ния занимает в языке не меньшее место, чем его описательная, информативная функция. Скажем, наряду с нейтральным словом «дом» в нашем языке имеются слова «домишко», «домище», «лачуга», выражающие нашу оценку того или иного конкретного дома. Будем называть такие слова «предметно-оценочными».

Эти слова резко отличаются от слов первых двух классов, которые способны породить суждение, только будучи соединенными: «Дерево – зеленое», «Река – широкая». А вот предметно-оценочное слово, соединяя в своем содержании указание на объект и его оценку, само по себе представляет как бы «свернутое» суждение, в нем сплавлены подлежащее и сказуемое. Произнося слово «произвол», мы обозначаем этим словом какой-то поступок и одновременно оцениваем его как незаконный, несанкционированный, т. е. выражаем тем самым суждение: «Этот поступок является незаконным».

Смысл слов с обычным предметным значением в значительной мере зависит от контекста употребления. Например, взглянув на ряд предложений: «Эта комната свободна», «Наконец-то я свободна!», «Сэр, это свободная страна!», мы замечаем, как варьируется смысловое наполнение слова «свободный». Но предметно-оценочное слово, будучи «свернутым» предложением, оказывается в значительной мере независимым от контекста, более того, оно само задает свой контекст. Вот два предложения: «Опытный политик сумел заключить соглашение с предводителем повстанцев» и «Матерый политикан вступил в сговор с предводителем бандитской шайки». Легко видеть, что как только мы на место нейтрального слова «политик» поставили предметно-оценочное слово «политикан», так сразу же мы вынуждены соответствующим образом подбирать другие слова: политик заключает соглашение, политикан вступает в сговор.

Использование предметно-оценочных слов придает тексту или речи определенную эмоциональную или идеологическую окраску, которая диктует нам подбор дальнейшей лексики. Скажем, ясно, что слова «содружество», «свободолюбие», «прогрессивный» не могут входить в оценочно-отрицательный контекст, а слова «сговор», «раболепство», «скопидомство» – в оценочно-положительный.

Понять предметно-оценочное слово или текст, насыщенный такими словами, означает уже не просто узнать, о каких предметах или событиях идет речь, а открыть ту идеологию – в самом

широком понимании, – которую стремился выразить или внушить нам автор текста. И при этом нам могут помочь взаимосвязи предметно-оценочных слов.

Как известно, *синонимами* называют слова и выражения, совпадающие по своему значению, например, «мужество» – «храбрость», «холостяк» – «неженатый мужчина»; антонимы – это слова, противоположные по значению, например, «светлый» – «темный», «теплый» – «холодный». В отношениях синонимии и антонимии могут находиться и предметно-оценочные слова, но поскольку они обладают двойным – предметно-оценочным – значением, эти отношения между ними удваиваются. На место двух отношений синонимии и антонимии встают отношения уже четырех типов.

1) *Предметная синонимия* (совпадение или близость предметных значений) *при оценочной антонимии*.

В таком отношении находятся два слова, которые указывают на тождественные (или сходные) объекты, но оценивают их противоположным образом, например: «свобода – вседозволенность», «патриотизм – национализм», «размежевание – раскол», «миролюбие – примиренчество». Слова «миролюбие» и «примиренчество» имеют приблизительно одно и то же предметное значение: склонность к миру, стремление установить мир, прекратить раздоры, ссоры. Однако оценочные коннотации этих слов прямо противоположны: миролюбие оценивается позитивно, а примиренчество – негативно.

2) *Предметная антонимия, оценочная синонимия*.

Два слова обладают противоположными предметными значениями, но оцениваются одинаково – положительно или отрицательно: «интернационализм – патриотизм», «новаторство – преемственность», «объективизм – субъективизм». Скажем, слова «миролюбие» и «непримиримость» являются антонимами по своему предметному значению (стремление к миру – отказ от мира), однако оба несут в себе позитивную оценку.

3) *Полная антонимия* – противоположность как предметных, так и оценочных значений.

Например, пары слов «миролюбие – агрессивность», «коллективизм – индивидуализм», «сплочение – раскол», «интернационализм – национализм» противопоставляются не только по наличию или отсутствию какого-либо семантического признака,

но и по отношению говорящего к предмету речи. «Коллективизм» – это наличие общности между людьми (или стремление к ней), которое оценивается положительно, а «индивидуализм» – отсутствие такой общности (или стремления к ней), которое оценивается отрицательно.

4) *Полная синонимия* – тождественность (или близкое сходство) как предметных, так и оценочных значений.

Например, слова «дисциплинированность – организованность – сознательность» в сравнении с другим рядом слов «анархия – стихийность – распущенность» могут рассматриваться как взаимозаменяемые и с точки зрения предметного, и с точки зрения оценочного значения.

Существование этих четырех отношений между предметно-оценочными словами говорит о том, что для каждого такого слова можно найти еще три слова, которые находятся с ним в указанных отношениях.

Возьмем, например, слово «патриотизм». Его семантическое значение – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Его оценочное значение – позитивное, патриотизм оценивается как нечто положительное, желательное, даже необходимое. Обозначим наличие данного семантического значения цифрой 1 и положительную оценку – также цифрой 1, тогда наше слово получит суммарную оценку (1,1).

Теперь мы можем поискать слово, обладающее приблизительно таким же семантическим значением, но имеющее отрицательную оценку. По-видимому, таким словом будет слово «национализм», которое означает приблизительно то же самое, что и «патриотизм», но оценивается отрицательно. Суммарной оценкой слова «национализм» будет (1,0).

Далее мы можем поискать семантический антоним «патриотизма», но оцениваемый также положительно. Таким словом можно считать слово «интернационализм», означающее равенство, солидарность и сотрудничество всех народов. Оно также несет в себе позитивную оценку. Суммарной оценкой этого слова будет (0,1).

Наконец, слово «космополитизм» будет полным антонимом слова «патриотизм»: оно противоположно и по своему семантическому значению, и по оценке. Суммарной оценкой слова «космополитизм» будет (0,0).

В итоге мы получили структуру из четырех слов, связанных отношениями синонимии и антонимии:

Патриотизм (1,1)	Национализм (1,0)
Интернационализм (0,1)	Космополитизм (0,0)

Теперь мы можем легко понять, как создаются идеологически нагруженные тексты. Когда речь идет о каком-то событии, явлении, общекультурном представлении, которые могут быть обозначены идеологически нейтральными словами, то, говоря о них, мы можем использовать разные предметно-оценочные слова, стараясь внушить слушателю или читателю определенное отношение к обсуждаемым вещам и явлениям. Допустим, мы говорим о «стремлении к миру» – А. Тогда возможны четыре разных способа выражения этого понятия в идеологически нагруженном языке.

Стремление к миру трактуется говорящим как нечто положительное, желательное, должное и выражается словом «миролюбие», несущим в себе положительную оценку: А(1,1).

Стремление к миру оценивается говорящим как нечто несвоевременное, вредное и обозначается словом «примиренчество»: А(1,0).

Отказ от мира – предметный антоним нашего А – трактуется говорящим как нечто положительное, необходимое и может быть выражено словом «непримиримость», несущее позитивный идеологический смысл: А(0,1).

Наконец, отказ от мира истолковывается как нечто губительное, безрассудное, дурное и выражается словом «агрессивность», несущее негативный идеологический смысл: А(0,0).

Защитники разных идеологических позиций будут использовать разные предметно-оценочные слова для выражения своей позиции и для критики враждебной идеологии. Например, какое-нибудь обычное расходование средств кто-то может расхваливать как проявление «щедрости», а оппонент будет критиковать это как «расточительность»; критик «щедрости» будет восхвалять «бережливость», а оппонент будет характеризовать бережливость как «скопидомство».

Использование предметно-оценочных слов мы находим уже в античности. Так, Фукидид в своей «Истории» сетует на то, что в период раздоров, вызванных Пелопонесскими войнами, «изменилось

даже привычное значение слов в оценке человеческих действий. Безрассудная отвага, например, считалась храбростью, готовой на жертвы ради друзей, благоразумная осмотрительность – замаскированной трусостью, умеренность – личиной малодушия, всестороннее обсуждение – совершенной бездеятельностью. Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа. Забота о безопасности была лишь благовидным предлогом, чтобы уклониться от действия. Человек, поносящий других и вечно всем недовольный, пользовался доверием, а его противник, напротив, вызывал подозрения. Удачливый и хитрый интриган считался проницательным, а распознавший заранее его планы – еще более ловким»⁴.

Здесь мы видим два ряда идеологических оценок, принадлежащих представителям двух враждующих партий, разным субъектам речи. То, что одни считают положительным проявлением «мужества», другие клеймят отрицательно-оценочным словом «безрассудство». Осторожное поведение его сторонниками характеризуется как необходимая «предусмотрительность», враждебная же партия обозначает такое поведение как «трусость». Следует заметить, что само употребление предметно-оценочных слов освобождает от необходимости что-либо доказывать: и без обоснований ясно, что «предусмотрительность» заведомо лучше «безрассудства», а «мужество» безусловно лучше «трусости».

Итак, понять некоторый текст значит не только осознать его предметное значение, но еще и открыть, какую идеологическую нагрузку он несет.

5. Взаимопонимание

До сих пор мы говорили о понимании языковых выражений, текстов. Но проблема понимания включает в себя еще один важный вопрос: как мы понимаем друг друга в процессе общения (коммуникации с помощью языка, если угодно) и способны ли мы понять другого человека? Представленная выше схема смысла языковых выражений до некоторой степени позволяет ответить на этот вопрос.

Взаимопонимание, т. е. приписывание одного и того же смысла слову двумя говорящими, возможно на уровне интересубъективных (общекультурных) элементов смысла. Органы чувств разных людей

функционируют более или менее одинаково, поэтому чувственные образы, ассоциируемые двумя людьми с одним и тем же объектом, будут приблизительно одинаковыми: небо для всех голубое, солнце – теплое, а вода утоляет жажду. Все мы – дети одной культуры, живем приблизительно в одинаковых условиях, учимся по одним учебникам, усваиваем знания своей эпохи. Кажется, что здесь не должно быть особых трудностей со взаимопониманием: мы приписываем словам тот смысл, который почерпнули из одного источника. Однако уже здесь начинаются осложнения. Оставим в стороне общение людей, принадлежащих к разным культурам, – ясно, что здесь дело не будет обстоять так просто. Но даже если мы учились по одним учебникам, то это не означает, что мы почерпнули из них одно и то же. Вот два человека употребили в разговоре слово «вольфрам», но один из них вкладывает в него только тот смысл, что это – металл, из которого изготавливают нити накаливания, а другой изучал в вузе химию и металловедение и знает о вольфраме гораздо больше, следовательно, приписывает этому слову гораздо более богатый смысл. Можно не изобретать примеров, а просто посмотреть, в каком смысле употребляют слово «философия» сами философы и представители естественных наук. То же самое справедливо и для той части смысла слов, которая задана семантическими полями: чем лучше владеет языком человек, тем богаче смысл, который он вложит в слово.

Отсюда следует, что на уровне интересубъективных элементов смысла взаимопонимание возможно, хотя часто оно оказывается чрезвычайно поверхностным. Так понимают друг друга совершенно посторонние люди, случайные попутчики на дороге жизни. Так понимает вас продавец магазина или работник ЖКХ, к которому вы пришли за справкой. Так понимает вас любой носитель языка, на котором происходит общение. Ясно, что чем ближе люди по своим профессиональным интересам, образованию, образу жизни и т. п., тем выше между ними уровень взаимопонимания.

Что же касается личностных элементов смысла, то, по видимому, мы вынуждены сделать вывод о том, что на этом уровне взаимопонимание вообще невозможно. Посмотрите, сколь разный смысл вкладывают люди в такие слова, как «Россия», «Советский Союз», «Октябрьская революция»! И даже простые собственные имена типа «Париж» или «Барак Обама» они наделяют очень далеко расходящимися смыслами.

Итак, изложенные выше соображения о понимании как об интерпретации и о сложной структуре смысла языковых выражений приводят нас к выводу о том, что люди понимают друг друга очень поверхностно, чаще всего они довольствуются иллюзией взаимопонимания, а полное понимание между людьми вообще невозможно.

Примечания

- ¹ О герменевтическом истолковании понятия понимания см. обзор: *Гайденко П.П.* Философская герменевтика и ее проблематика // Природа философского знания. Ч. 1. М., 1975; *Рузавин Г.И.* Герменевтика и проблемы интерпретации, понимания и объяснения // Понимание и объяснение. М., 1983.
- ² *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат, 4.002.
- ³ *Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 145.
- ⁴ *Фукидид.* История. М., 1981. Кн. 3, гл. 82. С. 197–198.

Река знания: о понимании как функции инфраструктурной среды

Цуя Касавин. The river of knowledge: to the origins of infrastructure environment

Исследования перспектив технонауки, инновационной экономики, новых технологических укладов ведутся в терминах «зон обмена», «архитектуры трансфера знания». Производство знания происходит не «в голове», не «в мозгу», а в общении разных социальных субъектов. Является ли это приметой современной науки, техники и общества в целом? История говорит о том, что не столько ученые, сколько общество в целом в виде различного рода специалистов создало основу классического естествознания. То знание, что явилось результатом их стихийной работы, можно назвать «предпарадигмальным опытом». Он генерировался на коммуникативных площадках вокруг технического артефакта (от рудника и корабельной палубы до типографии и аптеки). Недооценка роли этой преднаучной инфраструктуры не позволяет понять природу современной науки как социального института, а также в полной мере осознать, что понимание есть функция реальной, в том числе предметной интеракции.

Ключевые слова: Наука, техника, коммуникационная площадка, артефакт, история, современность, инфраструктура

The studies of the prospects for technoscience, for innovative economy, new technological structure in terms of «zones of exchange», «transfer of knowledge» architecture. The production of knowledge takes place not «in one's head» but in the communication of social actors. Is this a sign of modern science, technology and society as a whole? History shows that not only scientists but society as a whole represented by various types of specialists established the basis of the classical science. Knowledge that resulted from their elementary activity can be called «pre-paradigm experience». It was

generated on communication sites around certain technical artifact (from mine and the ship's deck to typography and pharmacies). Underestimation of the role of the pre-paradigm infrastructure prevents understanding the nature of modern science as a social institution, and leads to misunderstanding of understanding itself as a function of real interaction between agents via objects.

Keywords: Science, technology, communication, artifact, history, modernity, infrastructure, understanding

Необходимость истории

Эпистемологами и философами науки разработано немало тонких концептуальных дистинкций для описания познавательного процесса в науке. Структура научного знания предстает сегодня как сложнейшее переплетение теорий, картин мира и стилей мышления разного уровня; наглядных схем, моделей и метафор; данных наблюдения, измерения и эксперимента; математических расчетов, обобщений и гипотез; методологических норм, идеалов, кодексов научной честности. И все это погружено в техносоциальную среду лабораторий, институтов, университетов, в которой происходит не менее сложное общение множества разных субъектов, начиная от студентов, лаборантов, инженеров и заканчивая директорами, ректорами и главами научных школ.

Неудивительно, что при описании науки именно как современного предприятия возникают существенные трудности. Такое описание едва ли может быть выстроено далеким от науки человеком, который просто не знает даже названия окружающих его объектов. И одновременно восприятие включенного в науку субъекта «замылено» привычными способами видения и категоризации, локально ограничено конкретной сферой деятельности и потому не позволяет схватить своеобразие текущего момента и достичь известной отрешенности искомого обобщения. Такова «сложность» (это слово приходится повторять вновь и вновь, намекая на известную проблематику¹⁾ построения образа науки изнутри самой науки.

Однако и внешнего наблюдателя – социолога, историка, философа – подстерегает «ловушка остраненности». А.Шюц писал, что успешность социального ученого напрямую зависит от того, способен ли он примерить на себя маску «чужака»²⁾. Это человек, не встроенный в систему мотиваций, интересов, правил, привычных

образов и концептуализаций, характеризующих объект наблюдения (культурный феномен, социальную группу или институт). Внешний, неангажированный наблюдатель способен подняться над повседневными конвенциями, невидимыми для их носителей, проблематизировать их и сделать предметом исследований. Но какие из «невидимых очевидностей» способен обнаружить социолог или историк в физике или биологии, лингвистике или философии, если он их основательно не изучал?

Приведу два примера.

Первый касается возможного социологического анализа конкретной научной работы по теме, обнаруживающей дисциплинарную недоопределенность: теории дискурс-анализа. Какой, например, вывод сделает социолог из анализа книги «Дискурс-анализ. Теория и метод», изданной в 2004 г. в Харькове? Он увидит, что это перевод на русский язык книги³, которому предстояло просветить русскоязычного читателя на предмет дискурс-анализа. Он может обнаружить (если знает английский язык) и системную некорректность перевода, которую не смогла преодолеть научный редактор, кандидат филологических наук А.А.Киселева (автора которого издательство «Гуманитарный центр» не решилось указать). В самом деле, эта некорректность начинается с первых страниц книги, на которых фигурируют ее по-разному представленные оригинальные названия, в разном порядке перечисляемые фамилии авторов, хаос их инициалов. Заканчивается она неверной транскрипцией и склонением фамилий известных авторов. Многочисленные ошибки русского текста позволят социологу предположить, что работа с данным текстом будет существенно затруднена. Текст дезориентирует читателя, не позволяет с уверенностью цитировать и ставит перед необходимостью пробираться сквозь невразумительный перевод путем сличения с оригиналом, учета постоянных стилевых ошибок, пропуска слов, неверного согласования и т. д. Однако социолог едва ли заметит типичную содержательную ошибку, относящуюся к переводу такого важнейшего термина как «контингентный» (*contingent*, т. е. случайный, возможный, пропорциональный, условный – *англ.*). Этот термин – ключевой для рассмотрения дискурса как языка в контексте деятельности и общения и потому в данном случае должно использоваться далеко не первое значение («случайный»), но иное и весьма существенное – «завися-

щий от обстоятельств», «условный». Для наблюдателя-социолога опять-таки останется за кадром, что переведенная книга в целом представляет собой популярное, учебное изложение темы малоизвестными авторами и не является лучшим выбором для перевода, тем более что она посвящена некритическому реферированию источников, в первую очередь, концепции английского теоретика дискурса Н.Фэркло⁴.

Способен ли социолог обнаружить в этом малоудачном издании типичный продукт современной т. н. масс-науки (поп-науки)? В частности, такую странную констелляцию, в которой сливаются воедино актуальная научная тема, банальный коммерческий интерес, нарочитая реклама прикладных возможностей науки, наивное преклонение перед средствами массовой информации, невысокая профессиональная компетентность и даже элементы феминистской идеологии? И может ли он, далее, демаркировать друг от друга в семантическом поле научного термина «дискурс» слои, которые обязаны науке, с одной стороны, и разного рода псевдонаучной деятельности, с другой? Представляется, что собственно социологической квалификации для этого недостаточно, а адекватное понимание феномена данной книги и ее значения для гуманитарных наук требует широкой междисциплинарной компетенции с акцентом на социологию знания и социальную эпистемологию.

Еще один пример внешнего восприятия основан на внетекстовом жизненном эпизоде: моем последнем разговоре с приятелем – аспирантом биологического факультета МГУ, состоявшемся свыше тридцати лет тому назад, когда я сам учился в аспирантуре философского факультета. Мы случайно встретились у главного здания университета, перебросились парой фраз и разошлись, чтобы, вероятно, больше не увидеться никогда, но память меня порой возвращает к этому разговору. Я рассказал вкратце о теме своей диссертации, а потом спросил его, чем занимается он. «Крыс режу», – был ответ. «Просто крыс режешь, и все?», – удивился я. «Ну да, исследую некоторые функции печени», – пояснил он. «И сколько тебе нужно их разрезать?», – задал я вопрос. «Триста», – кратко ответил он. Эта точность меня поразила: «Именно триста, а не сто и не триста пятьдесят?» Но биолог не заметил иронии моего вопроса: «Сто будет мало, а триста пятьдесят – многовато, столько

не нужно. «И кто же это определяет достаточное количество?», – не унимался я. «У нас так принято», – сказал он, и мы заговорили о чем-то другом.

Пол Фейерабенд, предмет моей кандидатской диссертации, в подобной ситуации выплеснул бы порцию желчи по поводу работы «нормального ученого», этакой тупой рутины, основанной на «естественных интерпретациях» и догматических конвенциях. Тридцать лет тому назад и я мыслил точно так же. Но сегодня, напротив, возникает зависть к научному руководителю того аспиранта-биолога, который располагал достаточно жесткими способами внешнего контроля. Этому сопутствует и сожаление о том, что к аспирантам по философии не принято предъявлять такого рода нормативных требований, которые фильтруют явную недобросовестность. Слишком многое в современных гуманитарных науках принято оценивать приблизительно, «на глазок». И данная претензия относится вовсе не к инструкциям ВАК, а к тем «неформальным стандартам», которые приняты в сообществе. Этнонауки, включая и частные нормативные кодексы отдельных дисциплин, призван быть элементом профессионального стандарта, без которого нет не только науки, но и эффективной и ответственной деятельности вообще.

Однако трудности анализа «современности», «настоящего момента» не являются случайными и жестко привязанными к природе той или иной познавательной деятельности. Гештальт-теоретическая метафора фона и фокуса близка идее А.Шюца о «чужаке», поясняя, почему актуальное занятие некоторой деятельностью и рефлексия по ее поводу совместимы лишь по принципу «дополнительности», т. е. в сущности не пересекаются в настоящем, исключают друг друга.

Одна из обычных позиций рефлексии «чужака» – это ретроспекция, обращенность в привычное и идеализированное прошлое, пусть даже оно недостижимо и мешает приобщению к новой социальной группе. Предпосылка ретроспекции – понимание настоящего и будущего как следствий событий, удаленных во времени от наблюдателя. Объективность прошлого обязана тому, что оно оказало причинное воздействие, породило последующие события, которые без прошлого «возникли бы из ничего». О настоящем и будущем такой вывод будет преждевременным. Не это

ли обстоятельство послужило мотивом следующего заявления К.Маркса и Ф.Энгельса? «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга»⁵.

Подчеркнем еще раз: прошлое, локализованное в некоторой точке или отрезке времени, существенно определяется последующими событиями, которые произошли позднее и выступают теперь в качестве следствий этого прошлого. Историческое событие, тем самым, не может быть жестко ограничено временными рамками и даже тем конкретным рядом явлений, в котором оно выступает. Его потенциальное содержание, раскрывающееся в последующей истории, ничуть не менее важно. Это перспективный контекст, наполняющий историческое событие всей полнотой смысла. Иногда такой взгляд на историю понимают в чисто методологическом ключе как выражение не собственно исторического процесса, но *лишь* степени и формы его познания. Дескать, пройдя сквозь горнило множества интерпретаций, источниковедческой критики, историческое событие видится с позиции современного историка яснее, чем глазами очевидца. С этой точкой зрения polemизирует М.М.Бахтин, подчеркивая, что дело здесь вовсе не в знании. «Существовала школьная шутка: древние греки не знали о себе самого главного, они не знали, что они *древние* греки, и никогда себя так не называли. Но ведь и на самом деле, та дистанция во времени, которая превратила греков в *древних* греков, имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями в античности все новых и новых *смысловых* ценностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами и создали их»⁶. Как представляется, М.Бахтин говорит здесь как раз о соотношении потенциального и актуального в историческом событии. Дистанция во времени обладает преобразующим значением, поскольку исходное историческое событие обнаруживает себя в последующей истории. На обыденном уровне восприятия это обстоятельство схватывается в известной поговорке «Цыплят по осени считают». А сами «древние греки» были убеждены, что критерий добродетельности жизни – это достойная смерть и торжественные похоро-

ны. Дискуссию на эту тему ведет Сократ в диалогах «Менексен» и «Гиппий Большой», со скрытой иронией называя смерть на поле боя «прекрасным уделом», ведь на долю такого человека выпадают великолепные и пышные похороны, даже если умирает при этом бедняк, вдобавок ему – даже если он был никчемным человеком – воздается хвала мудрыми людьми. Итак, протяженность исторического события во времени есть его онтологическая характеристика, показывающая, что оно в буквальном смысле «делает историю». Обнаружить в толще времен историческое событие и проследить, какую именно историю оно делает; увидеть в истории след некоторого прошлого события и раскопать его – это и есть двуединая задача всякого историка.

Коммуникация и артефакты: в поисках новой науки

Ключ к научной революции Нового времени, в ходе которой теория соединилась с экспериментом, нельзя обнаружить путем логической реконструкции путем вывода новой науки из средневековой и возрожденческой университетской учености. И пусть усилия историков науки не пропали даром, и из глубин древних манускриптов выплыли на свет малоизвестные фигуры средневековых ученых, предвидевших некоторые идеи творцов классической науки. Это все же не объясняет ни трансформации научно-технической практики, ни глобального изменения в понимании природы. Наука Нового времени немислима без перехода от замкнутого, унифицированного и упорядоченного универсума, функционирующего при поддержке божественного провидения, к открытой, бесконечно многообразной, стихийно и непредсказуемо развивающейся Вселенной. Такой переход не мог эволюционно созреть в мысли; он был выстрадан драматическим ходом исторического развития, ему предшествовал важнейший период XIII–XV вв., подготовивший и закрепивший в общественном сознании и практике новый образ знания и его получения. В его возникновении сыграл значительную роль глобальный кризис Средневековья, длившийся практически весь указанный период: непрерывные войны, чума, голод, нищета привели к такому вымиранию европейского населения, что лишь к концу XVI в. был вновь достигнут демографический уровень 1300 г.

По-видимому, сама жизнь разрушила веру в упорядоченный природный мир и выдвинула идею «торжествующего дьявола» – «злого», т. е. неуправляемого и непостижимого мирского начала. Прочувствовать эту идею всем телом выпало на долю не кабинетных ученых-священников, но людей практических – врачей и солдат, ежедневно имевших дело с безжалостной смертью; моряков и купцов, бросавших вызов бескрайнему и могучему океану; монахам, фанатически несшим веру Христову в дальние страны и попутно открывавшим новые народы, новую флору и фауну неведомых земель. Они создавали особую практическую культуру мысли и формы коммуникации, которые позволяли эффективно решать стоящие перед ними задачи. В ее центре всякий раз обнаруживается некий новый артефакт – плод технической креативности и ручного искусства, включенный в особый контекст, в когнитивно-культурный или когнитивно-сакральный комплекс. В рамках этого комплекса встречаются люди, культивируются разнообразные практики, обретается новый язык, обеспечивающий совместную продуктивную деятельность.

Коммуникативное пространство науки формировалось задолго до рождения науки как социального института. Как представляется, плодотворный инсайт для этого можно почерпнуть в еще одном известном наблюдении К.Маркса: «Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом»⁷. Этот тезис нужно только обратить не на общество в целом, а на более специализированное – эпистемическое – сообщество. Тогда мы увидим, как технический артефакт, отличающийся особым историческим уровнем сложности, становится остановкой в пути знания и перекрестком общения заинтересованных субъектов.

Полвека назад были открыты рудники и шахты древнего человека, датируемые от 40 до 20 тыс. лет до н. э. Это, например, рудник Нгвеня в Свазиленде (Южная Африка)⁸, в котором добывали гематит, или красный железняк (оксид железа Fe_2O_3) – самую распространённую железную руду. Учитывая, что это происходило задолго до начала «века железа» (К.Томсен), приходится соглашаться с гипотезами о том, что этот минерал использовался не для выработки железных орудий, но для украшений, лечения и проторелигиозных ритуалов, а также для приготовления красной

охры – натурального пигмента, широко используемого в наскальной живописи и первобытной косметике. Тайна земных недр испокон веков манила к себе людей самых разных профессий. Шахтер, ювелир, художник, знахарь, шаман – вот те субъекты, чьи интересы требовали объединения их вокруг рудника и шахты – истоков зарождающегося горного дела.

Около 6 тысяч лет до н. э. человек пошел дальше и освоил первые металлургические процессы – научился обрабатывать самородные золото, серебро и медь, извлекать медь из руды. Эти металлы использовались первоначально вновь в ювелирном деле и ритуалах. Первые кузницы можно, вероятно, датировать серединой 4 тысячелетия до н. э. Тогда же и наступил энеолит (Aeneus – медь, лат) – «меднокаменный век»: люди не только научились извлекать медь из халькопирита CuFeS_2 (медного колчедана), но и изготавливать ее сплавы с оловом – бронзу. Бронзовые орудия заменили полированный камень эпохи неолита. Кузница как таинство огня и металла выступила в качестве неизменного места встречи рудокопа, кузнеца, ювелира, художника, алхимика, целителя и воина. Она стала царством Аида, Гефеста, Дедала, Ареса и Асклепия, в далекой перспективе – образцом физико-химической лаборатории.

Наряду с кузнецом, особым статусом в рамках деревенской общины пользовался мельник. Ветряная мельница (первые свидетельства относятся к середине 2 тысячелетия до н. э., водяная – 3 столетие до н. э.) была еще одним средоточием множества навыков, знаний и мифических образов. Мельник так же властвует над стихиями воздуха и воды, как и кузнец – над стихиями огня и земли. Мука понимается как всеобщая субстанция и как всеобщий эквивалент в натуральном хозяйстве. Отсюда магические характеристики мельника и его социальная ипостась как ростовщика и весовщика. Мельничная запруда – рыбное место, мельник – и рыбак, и знакомец водяного. Чтобы мельница работала, приносятся жертвы, мельник выступает в качестве жреца. Механизм мельницы сделан из дерева, поэтому мельник – одновременно и плотник, и механик. Мельничный привод выступает как образец для машин и механизмов и находит свою идеальную форму в механических часах.

Строительная площадка – еще одно коммуникативное пространство, происхождение которого скрыто в глубине веков. Храм Соломона, пирамида Хеопса, Афинский акрополь, Тадж Махал,

Шартрский собор, Саграда Фамилия А.Гауди – эти и другие, неизвестные постройки образовывали центростремительные очаги культуры, в которых сплавливались воедино многие знания и технологии, профессии и социальные роли. Началом строительства в древние времена являлось жертвоприношение, сегодня имитируемое закладкой в фундамент ценного предмета. Древнекитайские математики и механики заранее рассчитывали детали деревянных сооружений, что ускоряло монтаж. Крупная стройка всегда была еще и особым организационным проектом. Труд камнетесов и каменщиков, лесорубов и плотников, рудознатцев и кузнецов, гончаров и стекольщиков, ювелиров и художников, прядильщиков и ткачей дополнялся участием жрецов, инженеров, работарговцев, стражников, погонщиков скота и множества иного вспомогательного персонала.

Палуба корабля замыкает собой перечень главных коммуникационных площадок, получивших распространение еще в ветхозаветную эпоху. «Ноев ковчег», «ковчег Девкалиона», «Арго» – это самые первые корабли, в постройке которых участвовали боги наравне с людьми. У Гесиода и Гомера и во фрагментах других греческих и римских авторов описывается корабельная конструкция и основы морской навигации⁹. Б.Г.Петерс, специально занимавшийся этой проблемой, разработал интересную классификационную хронологическую таблицу эгейских типов кораблей, положив в основу тип движителя и наличие или отсутствие тарана¹⁰. К.М.Колобова подошла к этой проблеме с иной стороны и рассмотрела корабельную конструкцию как проекцию социальных отношений: «Пиратство, служившее для гомеровского общества, с его неразвитыми производительными силами, соответствующей им формой сношений, должно было пасть и пало побежденным противопоставленной ему более планомерной и менее стихийной организацией товарного обмена. В этом противоречии двух форм сношений – пиратской и торговой – победила торговля, и пиратские (длинные) корабли Греции заменились торговыми (круглыми) кораблями»¹¹. Палуба корабля – ограниченное и зыбкое пространство – стало лабораторией, где опробовались новые инструменты (те же компас, астролябия, часы и лаг), проверялись старые теории и выдвигались новые. Палуба корабля отвергла песчаные и огненные, солнечные и водяные часы, не решавшие задачу «транспор-

тировки времени». Долгое время она отказывала в применимости и пружинным часам, даже после того, как Х.Гюйгенс придумал маятник для равномерности хода: они все еще были недостаточно точны и слишком восприимчивы к перепадам температуры и влажности. Точный и надежный хронометр обязан своему изобретению именно потребностям морского дела, в частности, определению долготы на море. Английский часовщик, выполнивший эту задачу по заданию британского парламента, одновременно открыл новую эпоху. «Появление точных хронометров, – пишет известный историк науки, – было первым симптомом грядущей технической революции в Англии. Зачинатели машинного прядильного производства Харгривс, Кромптон, Аркрайт – все учились в часовых мастерских. Именно у английских часовщиков они переняли умение воплощать свои технические идеи в реальные, действующие механизмы»¹².

Вклад этой лаборатории в операционализацию астрономических счислений и наблюдений, в изучение гидро- и магнитосферы океана, его флоры и фауны, в картографию и метеорологию поистине всеобъемлющ. При этом нельзя забывать о медицине, открывшей, помимо всего прочего, обширное поле авитаминоза и проблематику предельных возможностей человека вообще. Вспомним изобретение коньяка и хереса – продуктов морских путешествий виноторговцев; здесь же и новый природный ресурс химической промышленности – ворвань морских млекопитающих. Одновременно весь океанский корабль от киля до клотика представлял собой сочетание всего самого передового, что могла предложить техника и наука человеку, отправляющемуся на опаснейшую «битву с природой». Кораблестроение, как и во многом связанное с ним военное дело, послужило в свое время таким же мощным толчком к развитию производства, каким сегодня являются автомобиль и компьютер. Великобритания одновременно становилась владычицей морей и колыбелью промышленной революции, а Петр I также не случайно начал свои реформы с закладки корабельной верфи.

Неудивительно, что палуба корабля превратилась и в своеобразный форум, объединивший высокообразованных офицеров, математиков, астрономов, географов и натуралистов широкого профиля, техников и ремесленников разного рода, путешественников,

авантюристов, миссионеров, коммерсантов и авторов приключенческих романов. О море иступленно мечтали юноши; в моряков поголовно влюблялись девушки; привилегией многих поколений аристократов стала морская служба, требовавшая воинской отваги и энциклопедизма ученого. Корабль стал значимой альтернативой как конторе, так и университету: знание и деньги, мечту и славу, карьеру и социальный статус – это и многое другое несла с собой профессиональная причастность к профессии моряка.

Коммуникация и трансфер знания

В наши дни, обсуждая перспективы технонауки, инновационной экономики, новых технологических укладов, только ленивый не говорит о «зонах обмена», «архитектуре трансфера знания». Все более осознается то обстоятельство, что производство знания происходит не «в голове», не «в мозгу», а в общении разных социальных субъектов. Однако было бы неоправданной наивностью полагать, что все это – примета современной науки, техники и общества в целом. Исторический взгляд не только призван развенчать эту самонадеянную наивность, но и указать на бесценный и плодотворный опыт, результатами которого мы пользуемся до сих пор. В частности, историко-научный урок состоит в том, что не столько ученые, сколько общество в целом в виде различного рода специалистов создало основу классического естествознания. То знание, что явилось результатом их стихийной работы, можно назвать «предпарадигмальным опытом». Его генератором, помимо уже упомянутых коммуникативно-технических структур – рудника, кузницы, мельницы, стройплощадки, корабельной палубы, стали аптека, типография, ювелирная и часовая мастерская, литературный салон, аристократический клуб. Процесс завершился, когда была создана первая научная лаборатория, владелец которой придумал и само это название; им был предшественник Исаака Ньютона на троне главного ученого Англии – Роберт Бойль. Но для того, чтобы она появилась, потребовался долгий исторический опыт создания коммуникативно-междисциплинарных зон трансфера знания – институциональных посредников между средневековым университетом и нововременной академией наук.

Познание можно представить себе в виде реки – все сметающей на своем пути весенней бурной стремнины, где не проплыть на барже, не построить электростанцию, не насыпать пляж, не построить причал. В таком случае нам не отыскать свидетелей, не обнаружить результатов, не воспользоваться крупными найденными истин. Но реки бывают и иными – широкими мощными потоками с омутами и мелями, плесами и рукавами, старицами и перекатами. На них строят шлюзы и дамбы, пристани и причалы, мосты и переправы, плотины и электростанции, отводные канаты и водохранилища. Эти своего рода «священные места», иначе говоря, элементы инфраструктуры позволяют вовлечь реку в диалог, в производственный и культурный обмен с человеком. Тем самым преодолевается эффект Вавилонской башни, формируется единая картина мира, создаются каналы генерации, аккумуляции, трансляции и применения производственного и организационного знания. Инфраструктурные площадки и есть те места, где происходит смыслообмен и созидание смысла, иначе говоря, понимание и взаимопонимание.

Река знания протекает совсем рядом; заговорим ли мы с ней на общем языке?

Примечания

- ¹ См.: Синергетическая парадигма: синергетика инновационной сложности: к 70-летию В.И.Аршинова: сб. / Отв. ред. В.И.Аршинов. М., 2011.
- ² См.: *Schutz A. The Stranger // Collected Papers. Vol. 2. The Hague, 1962–1966.*
- ³ См.: *Jorgensen M., Phillips L. Discourse Analysis as Theory and Method. Sage, 2002.*
- ⁴ См.: *Fairclough N. Language and Power. L., 1989; idem. Critical Discourse Analysis. L., 1995.*
- ⁵ *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 16, примеч.*
- ⁶ *Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 333.*
- ⁷ *Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч. Т. 3. М., 1985. С. 60.*
- ⁸ *Dart R.A., Beaumont P. Evidence of Iron Ore Mining in Southern Africa in the Middle Stone Age // Current Anthropology. Vol. 10. No. 1 (Feb., 1969). P. 127–128.*
- ⁹ Применительно к более поздней эпохе важнейшую роль сыграл корабль викингов IX в., раскопанный в 1880 г. в Гокстаде (Норвегия) и послуживший реконструкции системы корабельного дела тех времен.
- ¹⁰ См.: *Петерс Б.Г. О морском деле в Эгейском мире // История и культура античного мира. М., 1977. С. 162–165.*
- ¹¹ *Колобова К.М. К вопросу о судовладении в Древней Греции. Л., 1933. С. 10–11.*
- ¹² *Гурштейн А.А. Извечные тайны неба. М., 1984. С. 148.*

Перевод и понимание: логический позитивизм, постпозитивизм, прагматизм*

Olga Stoliarova. Translation and understanding: logical positivism, post-positivism, pragmatism

В статье обсуждается проблема понимания в связи с проблемой языкового перевода в контексте философии науки XX в. Решение проблемы языкового перевода, выдвинутое прагматизмом, интерпретируется как снятие противоречия между синтаксическим и семантическим подходами к этой проблеме.

Ключевые слова: философия науки, прагматизм, перевод, понимание, процесс, информация, язык, деятельность

This paper discusses a problem of understanding in its connection with a problem of language translation in 20th century philosophy of science. The solution that pragmatism offers to this problem is interpreted as overcoming both the syntactic and semantic approaches to understanding and language translation.

Keywords: philosophy of science, pragmatism, translation, understanding, process, information, language, activity

Проблема понимания шире проблемы языкового перевода¹ и включает в себя последнюю. Языковой перевод следует определить в качестве вербального модуса понимания. Адекватное же понимание *понимания*, на наш взгляд, невозможно без учета экстралингвистических факторов. Мы собираемся привести соображения в пользу этой точки зрения, обратившись к философскому анализу проблемы перевода применительно к языкам естественных наук.

* Работа выполнена по гранту РГНФ № 12-03-00600 «а», индивидуальный исследовательский проект «Конструктивизм как онтология».

Поворот философии к языку: языковой перевод и проблема понимания. В философии XX в. основное внимание при анализе проблемы понимания уделялось именно лингвистическим факторам. Так называемый «лингвистический поворот» и в аналитической, и в континентальной традиции привел к неоправданной абсолютизации языка. Неопозитивисты и аналитические философы, с одной стороны, и континентальные философы – например такие, как Хайдеггер и Гадамер, с другой стороны, отождествляли понимание с языком². Во второй половине XX в. ситуация меняется: все больше признания со стороны философов получают такие феномены, как «телесность» и «коллективная телесность», «неявное знание», «габитус», «жизненный мир», «фон» и т. п., которые можно определить в качестве доязыкового практического горизонта языка. «Держим в уме» эту тенденцию и обратимся к проблеме перевода.

Философская проблема перевода очень остро встала как раз в эпоху «лингвистического поворота», а попытки ее решения, напротив, только способствовали его кризису. Если отождествлять понимание с языком, то именно язык становится главным ответчиком по делу о всевозможных дефектах общественной жизни, которые только может констатировать философия.

С философской точки зрения проблема перевода в ее предельном выражении относится к вопросу о том, существует ли универсальный язык, который, несмотря на разные его проявления, всегда остается равен себе, т. е. разные его проявления, по сути, эквивалентны друг другу. Можно провести аналогию с рынком и той ролью, которую валюта играет в экономике. Например, если мы конвертируем рубли в доллары, а доллары в евро или обратно, то мы обмениваемся эквивалентами, которые могут быть измерены общей мерой – товарной массой, стоящей за нашими эквивалентами. Молчаливо подразумевается, что общая мера есть и у языка. Но если в экономике такой общей мерой выступают ресурсы (материальные ценности), то что сказать о языке? Разные философские школы и традиции по-разному отвечали и отвечают на этот вопрос, приписывая общую меру («золотой стандарт») языка разным носителям: мировому духу, природе, материи, бытию, идеям, сознанию, чувственным данным.

Продолжим рыночную аналогию. В ситуации инфляции, когда денежные единицы перестают подкрепляться товарной массой, покупательная способность, она же реальная стоимость денег, сни-

жается, и денежные знаки превращаются в ничтожные фантики, за которыми – не материальные ценности, а их отсутствие. Что же происходит с языком? Может ли язык переходить в состояние инфляции и падать в цене, могут ли существовать избыточные лингвистические конструкции, не подкрепленные никаким ресурсом, когда перевод их в другие неправилен или чреват серьезным ущербом? Так, конвертируя «гавагаи» в «кролика» можем ли мы быть уверены в том, что не продешевили или, наоборот, не присвоили себе чужого?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, какие средства измерения предметного содержания лингвистических конструкций существуют в нашем распоряжении. Обратимся к теории информации, которая занимается как раз измерением содержания языковых конструкций («измерением экстенсивных характеристик человеческого знания»³). В теории информации и лингвистике выделяют три основных подхода к анализу содержания информации⁴: 1) синтаксический (он же количественный); 2) семантический (он же смысловой) и 3) прагматический.

Первый ориентирован на формальные характеристики содержания информации, без учета их смыслов и значений. Например, если нам необходимо конвертировать «гавагаи» в «кролика», количественный подход займется способами упаковки, передачи и распаковки определенного количества бит в виде определенной структуры, которая должна остаться неизменной при переходе от источника к приемнику. В этом случае содержание информации полностью редуцируется к ее структуре.

Второй (семантический) подход имеет дело со смысловыми характеристиками информации. Так, в случае конвертации «гавагаи» в «кролика» семантический подход озабочится тем, насколько структура передаваемого сообщения сохраняет его исходный смысл и каковы правила интерпретации передаваемых символов, позволяющие принять информацию без искажений смысла.

Третий, прагматический подход учитывает не только синтаксис и семантику, но также отношение между информацией и человеческим поведением (поведением системы). Иначе говоря, прагматический подход принимает во внимание связь систем знаков и их пользователей – субъектов действия. Прагматический подход намеренно оставляет «зазор» между передаваемой и прини-

маемой информацией, подчеркивая, что в процессе конвертации (передачи) данных возникает некоторая (экстралингвистическая) избыточность. На выходе эта избыточность приводит к «годной к употреблению» информации, которая зависит от ситуаций применимости и, соответственно, не может считаться полным эквивалентом исходных данных. Так, конвертируя «гавагаи» в «кролика» и обратно, нам следует соотнести наши «эквиваленты» с координатной системой, в которую входят, в частности, поведенческие диспозиции пользователей информации. Именно это предлагал Уиллард Ван Орман Куайн, развивая концепции онтологической относительности и неопределенности перевода⁵.

Философия науки в поисках универсального языка. Имея в виду данную трехчастную типологию (конечно, как и любая типология, она схематизирует и тем самым упрощает реальное состояние дел в информационных и лингвистических теориях), обратимся к проблеме перевода в том виде, как она поставлена и решается в философии науки XX в. Хотя в собственном смысле «философия науки» оформляется в рамках логического позитивизма, в более общем смысле философия индуктивных наук, и прежде всего, экспериментально-математического естествознания, возникает вместе со своим объектом в Новое время. Она представляет собой теоретические усилия, предпринятые для того, чтобы набросать координатную систему для новых практик и результатов – систематических инструментально опосредованных наблюдений и экспериментов и их математического описания. Важнейшей проблемой для философии науки становится проблема обоснования нового научного метода: как (и возможно ли в принципе) доказать его правомерность, т. е. истинность (общезначимость) его результатов? После критики чистого разума, разработанной Кантом, вопрос об истинности результатов научного метода в терминах метафизического соответствия научных теорий трансцендентному миру открыто в философии уже не ставится. Вместо него ставится вопрос об общезначимости научных результатов, относительно которых были бы принуждены согласиться все разумные существа в силу их разумности. «Лингвистический поворот» как более широкая тенденция мысли конца XIX – начала XX в. оказал существенное влияние и на философию науки, переориентировав ее с изучения сознания (оплота искомой общезначимости) с такими

его атрибутами, как чувственные данные и/или идеи на изучение языка. Изучение языка науки и построение моделей языка науки с точки зрения сторонников «лингвистического поворота» должно было, наконец, избавить философию науки от остатков психологизма и метафизики и привести ее к точному, формализованному знанию о своем объекте – всеобщем и необходимом знании о природе и человеке как ее части.

В то время на первый план в философии науки выходит проблема перевода. Действительно, если философия науки стремится найти универсальный способ обоснования экспериментально-математического естествознания и связывает этот способ с анализом языка и построением модели универсального языка науки, то проблема перевода информации с естественных языков на единый искусственный язык приобретает первостепенное значение. Далее мы рассмотрим 1) попытки построения формализованного языка в логическом позитивизме, 2) критику этих попыток в постпозитивизме и 3) снятие данного противоречия в прагматически ориентированной философии науки, которая выводит анализ языка за пределы самого языка. Мы соотнесем эти выделенные нами тенденции философии науки с трехчастной типологией теоретических исследований информации, а именно с синтаксическим, семантическим и прагматическим подходами, о которых говорили выше.

Однако при таком соотнесении нужно сделать следующую оговорку. В отличие от классической теории информации, философия науки не в состоянии полностью абстрагироваться от смыслов и значений терминов и выражений. Если бы наука в соответствии с маниакальной идеей некоего одержимого методолога отвечала исключительно на вопрос «как?» и представляла собой только математическое описание функциональной зависимости одних чувственных данных (наблюдаемых событий) от других, то она потеряла бы для философа всякий интерес⁶. Все же философ – это не (только) математик и не (только) логик. И даже если он интересуется искусственными языками, он интересуется ими для того, чтобы прийти к тем или иным содержательным и осмысленным умозаключениям, рассматривающим искусственные языки с учетом эпистемологической и онтологической перспективы. Поэтому о полном соответствии между синтаксическим подходом в теории информации и философией науки логического позитивизма речь

не идет. Формализованный подход философии науки к информационному содержанию языка науки (Р.Карнап, И.Бар-Хиллел) в классической теории информации уже является семантическим, т. е. связывающим информацию с описываемыми объектами. Программа же решения всех проблем логики науки исключительно посредством синтаксического анализа языка науки, выдвинутая Рудольфом Карнапом в так называемый «синтаксический период» его исследований, никогда не была в полной мере синтаксической и на деле включала в себя семантические компоненты, а также философские предпосылки и выводы⁷. К тому же Карнап вскоре вступает в «семантический период», свидетельствуя тем самым, что чисто технические вопросы синтаксиса не могут удовлетворить философа. Таким образом, мы условно соотнесем логический позитивизм с синтаксическим подходом в теории информации для того, чтобы подчеркнуть 1) скорее тенденцию, никогда в полной мере не реализованную, а именно – стремление логического позитивизма к крайнему формализму; и 2) формализм логического позитивизма по сравнению со следующим этапом – его постпозитивистской критикой.

Мечта философов об универсальном языке получила максимальное выражение и систематическую разработку в конце XIX в. – начале XX в., что и вдохновило «лингвистический поворот». Историки философии связывают обращение к универсальным свойствам языка с кризисом наглядности в математике и естественных науках⁸. Открытия неевклидовых геометрий и проективной геометрии, теории относительности и квантовой механики, а также физиологии и экспериментальной психологии разрушили веру в то, что опытные данные (чувственные образы или идеи) обладают объективностью (всеобщностью и необходимостью). Защитники новой формы объективности (Питер Галисон и Лоран Дастон называют ее «структурной объективностью»⁹), которая, вооружившись бритвой Оккама, подчищала оставшиеся следы психологизма и догматической метафизики, «возлагали надежды на инвариантные структуры... Для Гельмгольца и тех, кто рассуждал так же, как он, эти структуры выражали необходимый порядок чувственных впечатлений (signs), для других они представляли собой дифференциальные уравнения; для третьих – логические отношения. Некоторые из защитников структурной объективности

занимались лабораторными исследованиями, некоторые – инженерными проектами; некоторые обретались в рафинированных сферах математической логики... но все они придерживались той версии объективности, которая основывалась на структурах, а не на образах, так как именно структурная объективность, с их точки зрения, позволяла сломить узкий мирок индивидуальной субъективности»¹⁰. Так, один из родоначальников лингвистического поворота Готлоб Фреге полагал, что создание искусственного языка с строго определенной, неизменной структурой и установление строгого соответствия между именами-символами этого языка и тем, что они обозначают, приведет к однозначности в описании мира, который так же (подразумевалось) обладает неизменной структурой. Следуя этой программе, и «гавагаи», и «кролик» могут быть обозначены переменной X , область значения которой, соответственно, – это все гавагаи-кролики универсума, т. е. представители особого рода млекопитающих семейства зайцевых.

Наука о природе, как было определено еще Аристотелем, изучает движение. Но если Аристотеля интересовало прежде всего «что» движения, или субъект движения (как цель движения), и именно это следовало познавать в понятии и с помощью категорий, то экспериментально-математическое естествознание интересуется движением как таковым. Нужно учесть при этом, что экспериментально-математическое естествознание не только делает движение как таковое предметом изучения, но и вырабатывает методологию, позволяющую перевести его из индивидуального опыта, который фиксирует то, что «все течет, все изменяется», во всеобщую и необходимую форму «законов природы», отражающих устойчивую упорядоченность и повторяемость элементарных событий. Перевод законов природы на язык, выражающий законы мысли, и оказывается тем универсальным методом, который позволяет сделать движение познаваемым всеми рациональными субъектами. Язык, следовательно, выступает универсальным интерфейсом, границей раздела и связующим звеном между познающим субъектом и познаваемым в виде законов природы движением. Поэтому с точки зрения логических позитивистов, которые рассматривают науку о природе (о движении) в качестве высшего проявления рациональности универсального (абстрактного) субъекта, именно язык логики и математики, способный передать движение как изменение

положения объектов мира относительно друг друга (или относительно пространства) становится универсальным орудием научного описания мира. Этот язык призван выразить не содержание конкретного опыта, и даже не отвлеченные от этого опыта сущности наподобие переменной, подразумевающей, к примеру, абстрактного кролика-гавагаи, но структуру опыта, отражающую неизменную структуру того, что на обыденном языке называется «движением». В конце концов, то, что мы имеем в виду, когда говорим «кролик» или «гавагаи», есть на самом деле один из сегментов предзаданной конфигурации исходных элементов мира. Эта конфигурация включает и наше собственное восприятие вышеозначенной структуры, которую мы определяем как «движение», – то появляющегося, то исчезающего из поля зрения существа семейства зайцевых. Соответственно, перевод информации с естественных языков на искусственный язык математической логики, который передает инвариантную структуру отношений между элементами мира, должен при условии его достижимости решить проблему плюрализма мнений и теорий и привести всех рациональных субъектов к единству знания (косвенно свидетельствующего о единстве мира).

Каково же предметное содержание универсального искусственного языка научного описания и как его измерить? Ведь именно это содержание при условии установления его однозначного соответствия знакам естественных языков позволило бы говорить об эквивалентности последних и осуществлять конвертацию этих языков посредством перевода их на единый универсальный язык математических и логических символов, чьи термины отсылали бы обратно к элементам исходного содержания. Предметное содержание искусственного языка логические позитивисты решительно ограничивают систематически организованным инструментально опосредованным чувственным опытом. Именно такой опыт, тесно связанный с применением измерительных инструментов¹¹, поставляет не образы (идеи или представления), а устойчивые повторяющиеся отношения чувственных впечатлений друг к другу, которые могут быть выражены символами искусственного языка. «Возможность использования ресурсов символической логики для... описания “сырого материала” опыта обосновывалась Карнапом тем, что наука имеет дело с описанием не содержания опыта, а лишь его структурных

свойств, допускающих формальное представление в логических символах»¹². «Факты природы должны быть описаны в количественных понятиях с численными значениями... Употребление чисел в качестве значений нашей шкалы предполагает структуру логических отношений, которая не является конвенциональной, поскольку мы не можем отказаться от нее, ибо иначе мы попадем в ловушку логических противоречий»¹³. Иначе говоря, не белый и пушистый «гавагаи-кролик», а пространственно-временные точки-моменты, изоморфные натуральным числам, а также отношения между ними, выражаемые действительными числами, являются предметом научного познания и описания. Следовательно, пространственно-временные точки-моменты описываются рядами чисел, которые принадлежат области чистой математики, сконструированной априори и не допускающей внутри себя логических противоречий. Этот искусственный язык применяется не только по отношению к предмету физики и других естественных наук, но также по отношению к предмету психологии и социальных наук¹⁴.

Возможно ли установить однозначное соответствие между элементами опыта и элементами естественных языков, что позволило бы преобразовывать последние друг в друга через соотнесение их с некоей логической структурой, отражающей структуру опыта? К сожалению, единственный способ, позволяющий установить однозначное соответствие между пространственно-временными точками-моментами и естественными языками, состоит в том, чтобы ограничить слова естественных языков указательными местоимениями наподобие «то», «это», «вот» и т. п., которые настолько же богаты, насколько и бедны: потенциально принимая любое предметное содержание, они в действительности являются бессодержательными (да и этот способ при ближайшем рассмотрении оказывается далек от желаемой строгости¹⁵). Собрать из таких слов идею какого-либо предмета, свойства, множества предметов, не говоря уже об идее, выражающей то или иное положение дел, без некоего таинственного скачка, предельного перехода, когда ряды пространственно-временных точек-моментов превращаются в «кролика» или «гавагаи», невозможно. Тем более невозможно без того же самого таинственного скачка собрать из точек-моментов слухового или зрительного восприятия фонем или букв,

составляющих «кролика» и «гавагаи», общую идею, выражающую пространственно-временные точки восприятия того, что мы определяем с помощью данных фонем или букв.

Искусственный язык и искусственный интеллект. Этот скачок, в момент которого совершается загадочный переход количества в качество, по всей видимости, и является непреодолимым препятствием для философско-лингвистически-инженерного проекта искусственного интеллекта и тесно связанного с ним проекта машинного перевода (machine translation, МТ). Онтологической предпосылкой данных проектов, как и логического позитивизма, является представление о некоей универсальной структуре, лежащей в основании физического мира и субъективного опыта как его части. Если предположить, что необходимый универсальный синтаксис, или «универсальная грамматика» с неизменными отношениями между ее элементами, составляет скрытый каркас универсума, то все содержательные аспекты этого каркаса, всю ту, если можно так выразиться, смысловую и созерцательную плоть, которая облекает этот скелет, вполне позволительно считать приходящими и несущественными. Таким образом, в соответствии с принципом каузальной замкнутости (универсальная логико-математическая структура отношений охватывает весь мир, вне которого нет ничего) приходится признать, что ментальные состояния и процессы, равно как и наблюдаемое поведение их носителей, могут быть исчерпывающим образом описаны в терминах синтаксиса. Искусственный интеллект – это и есть воспроизводство универсального синтаксиса на материальном носителе, способном осуществлять те или иные наблюдаемые операции. Идеалом для сторонников искусственного интеллекта является достижение полной переводимости всей вообще информации на универсальный искусственный язык, выполненное машиной (суперкомпьютером). Машина в сравнении с человеком обладает важными преимуществами: она, во-первых, способна совершать гораздо большее число логических операций за единицу времени, что позволяет ей установить связи между гораздо большим числом символов, и, во-вторых, нечувствительна к семантике и, значит, способна полностью редуцировать семантику к синтаксису как случайное к необходимому, или приходящее к сущностному. Теоретически, следовательно, супермашина, вооруженная соответствующим ал-

горитмом (или совокупность супермашин – нечто вроде цифровой «республики ученых»), могли бы охватить всю логическую структуру мира, достроить научное знание до необходимой полноты, создав алгоритмическую «Теорию всего»¹⁶, и конвертировать естественные языки друг в друга через соотнесение каждого из них с универсальным алгоритмом. Если бы идеальный машинный перевод был реализован, то и «кролик», и «гавагаи» могли бы быть автоматически сведены к *одной и той же* подструктуре, принадлежащей некоей общей *interlingua*, а компьютер мог бы поддерживать осмысленный диалог с любым рациональным человеческим субъектом, т. к. любая возможная семантика а priori заключалась бы в универсальном унифицированном синтаксисе¹⁷. Можно выразить преимущества машины перед человеком несколько иначе: машина не способна лгать, поскольку ложь относится к семантике (интерпретации), а семантика в принципе сводима к синтаксису, то машина автоматически переводит мнения, чей онтологический и эпистемологический статус далеко не безупречен, в универсальное знание. Машине (как и жильцу китайской комнаты из мысленного эксперимента Джона Серла) не требуется переживать «настоящее» понимание – автоматической конвертации семантики в синтаксис вполне достаточно как для диалога, так и для построения алгоритмической научной теории¹⁸.

Проблема искусственного интеллекта и машинного перевода, однако же, состоит не только в том, что они до сих пор не реализованы и тест Тьюринга до сих пор не пройден¹⁹, а, как заключают многие критики этих проектов, в принципиальной невозможности формализации смысла. Мы сошлемся на авторитет таких известных представителей естественных и социальных наук, как физик и математик Роджер Пенроуз, философ аналитической традиции Джон Серл, философ-феноменолог Хьюберт Дрейфус, социолог науки Гарри Коллинз, которые единодушны в следующем: сознание и понимание существенно неалгоритмичны и, соответственно, не могут быть воспроизведены в качестве формальной системы²⁰.

Вернемся к философии науки логического позитивизма. Мы связали эту философию с синтаксическим подходом, который, в свою очередь, обозначили как попытку установить количественную меру смысла. По всей видимости, то обстоятельство, что философия науки, как мы отметили выше, если она желает остаться

философией, не может обойтись без семантики, предопределило неудачу синтаксического подхода. Заложённая в синтаксическом подходе опора на двузначную логику и дискретные состояния «все или ничего» с необходимостью обращают любые смыслы и значения в свой антитезис. Действительно, если абсолютная строгость формализации смысла (она же – полная вычислимость) не может быть достигнута, то, оставаясь на уровне синтаксиса, мы полностью теряем смысл, а приобретая смысл, теряем его логико-математическое обоснование. Причем не обязательно идти так далеко, чтобы вводить в описание мира ненаблюдаемые сущности или категории. Даже на уровне непосредственной остенсии, как показали критики позитивизма, требуемая строгость описания не может быть достигнута, и неопределенность перевода вступает в свои права. Смысл сам по себе является достаточным основанием для ниспровержения формального подхода.

Редукция к смыслу. Это было вполне осознано постпозитивистскими философами, которые пришли к решительному отрицанию существования нейтрального и логически непрерывного языка чувственных данных. С постпозитивистским (антипозитивистским) движением мы связываем семантический подход к анализу языка науки. Если синтаксический анализ языка науки исходил из некоторых простейших «единиц» опыта, внешние отношения между которыми образуют логическую структуру, то семантический подход обращается к смыслам и значениям, осуществляя обратную редукцию: простейшие «единицы» языка чувственного опыта оказываются, с точки зрения критиков логического позитивизма, сложносоставными – они обладают внутренней структурой и, соответственно, качественным своеобразием. Это разрушает формальную логико-математическую структуру опыта: ведь если не существует двух одинаковых единиц, то все логико-математические формализации оказываются под угрозой. О каком едином искусственном языке науки можно говорить, если его элементам невозможно поставить в однозначное соответствие элементы опыта, т. к. последние определяются не внешним образом, а через свое содержание, а это содержание наличествует в любом естественном языке? Иными словами, если бы даже мы могли, обладая техническими параметрами суперкомпьютера, полностью абстрагироваться от смыслов и значений, переведя все научные утверждения и

теории на единый искусственный язык, то обосновать необходимость этого перевода в терминах естественного языка мы бы уже не смогли. Это означает, что наш воображаемый суперкомпьютер, почти мгновенно превращающий семантику в синтаксис, при условии его реализации, был бы основан на теории, которая оставалась бы не формализуемой в рамках произведенных им логико-математических структур. «Почему существует нечто, а не ничто?», – спросили бы тогда философы (если бы они не были полностью упразднены), имея в виду универсальный суперкомпьютер. И, к сожалению, не получили бы ответа. Любой ответ на этот вопрос в терминах естественного языка оказался бы мифом наподобие ответа на вопрос о правомерности критерия верификации в логическом позитивизме.

Идея о том, что элементарные «единицы» опыта на самом деле не элементарны, а «заражены» мифом, или естественным языком, и способны под воздействием этого языка оборачиваться «то уткой, то кроликом» (то «кроликом», то «гавагаи») стала едва ли не общим местом в философии науки 60–70-х гг. XX в. Эту идею разделяли Уиллард Куайн, Томас Кун, Пол Фейерабенд, Норвуд Хэнсон и даже (хотя и не всегда) Карл Поппер. Эта идея определяет важнейшие анти-позитивистские концепции – теоретической нагруженности фактов (*theory-ladenness*) и недоопределенности теории фактами (*underdetermination of scientific theory*). Первая говорит о том, что один и тот же (на входе) событийный ряд – последовательность чувственно воспринимаемых пространственно-временных точек-моментов, фиксируемых с помощью того или иного инструментария (измерительного прибора, экспериментальной установки), – на выходе может оказаться *не одинаков* в зависимости от концептуальных ожиданий того, кто осуществляет наблюдение или эксперимент. Несмотря на то, что Лавуазье и Пристли, как пишет Кун, проводили сходные эксперименты и наблюдали сходные явления, каждый из них увидел то, что предписывала ему его теория («кислород» в первом случае и «флогистон» во втором)²¹. Даже в случае использования одинаковых терминов для описания одних и тех же наблюдений приверженцы разных теорий вкладывают в них разный смысл, что становится очевидным при включении этих терминов в теории. Некоторые факты вообще выпадают из поля зрения одних экспериментаторов и наблюдают-

ся при этом другими экспериментаторами в зависимости опять-таки от концептуальных предвосхищений опыта. К тому же, экспериментальные установки и измерительные приборы заключают в себе теоретический компонент, обосновывающий их устройство и надлежащее использование, что нагружает факты теорией уже на самой начальной стадии их получения в лабораторных условиях²².

Концепция недоопределенности теории опытом указывает на существование (синхронное или диахронное) двух или более соперничающих теорий, подкрепленных одними и теми же данными опыта. Такие теории являются различными описаниями мира, хотя их эмпирические следствия совпадают. Поэтому при выборе теории ученые руководствуются не тем, какая из них лучше согласуется с фактами, а чем-то иным (метатеоретическими предпочтениями). Согласно тезису Дюгема-Куайна, любая научная гипотеза (теория) может быть согласована с любыми опытными данными за счет введения дополнительных теоретических допущений, что в принципе позволяет сделать эту гипотезу (теорию) эмпирически эквивалентной любой другой гипотезе (теории)²³.

Итак, обратная редукция от факта к смыслу, осуществленная постпозитивизмом, привела к признанию того, что язык науки определяется естественными языками (состоит из множества естественных языков), а это, из-за несоответствия требованиям, которые логический позитивизм выдвигает для осмысленных утверждений, автоматически превращает его в язык мифа, а не объективного знания. Поскольку естественные языки не могут быть сведены без некоторого неконтролируемого (невыводимого) остатка к опытным данным, постольку же они не могут быть конвертированы друг в друга через посредство универсального языка: отсутствие «золотого стандарта» опытных данных для сравнения научных теорий делает эти теории (гипотезы и утверждения) *несоизмеримыми*. Концепция несоизмеримости говорит о том, что сравнение научных теорий (а так же проблем и методов) представляет собой принципиально иную (гораздо более сложную) процедуру, нежели алгоритмическая конвертация их друг в друга через логически непрерывное сопоставление с точками-моментами опыта²⁴.

Как же в таком случае осуществить перевод терминов и утверждений науки, и не только науки, а *любоых* терминов и утверждений, с одного естественного языка на другой? Задача перевода

«гавагаи» в «кролика» или наоборот приобретает драматический характер. Теперь мы можем быть уверены, что «гавагаи» *по сути* эквивалентен «кролику», только если сопоставим и того, и другого с нейтральным по отношению к своему воплощению смыслом – *эйдосом* «гавагаи-кролика как такового». Да, отлитых из «золота эйдосов» «гавагаи» и «кролика» можно будет легко поменять местами, и их обладатели не заметят подмены. Но удовлетворит ли ученых гипотетический «золотой стандарт» эйдосов? И разве эйдосы способны передать основное предметное содержание любого из языков естествознания, а именно – движение (изменение)? Не попадет ли оно в таком случае в разряд невыразимого и непереводаемого, того, о чем следует молчать, а если и говорить, то на поэтическом языке гуманитарного знания, в котором понимание полностью зависит от интерпретации, а языковой перевод превращается в действие, обладающее произвольным характером?

Прагматизм как синтез. Постпозитивистский скептицизм относительно науки, который Ян Хакинг назвал кризисом рациональности, разбивается, однако, об одно очевидное обстоятельство. Это обстоятельство заключается в том, что, несмотря на непроясненность собственных теоретических оснований, наука не молчит, не бездействует и меньше всего подходит на роль культурного аутсайдера. Она, напротив, вполне успешна. Она непрерывно порождает все новые и новые материально-семиотические ряды и не обращает большого внимания на философов, у которых не сходятся концы с концами в рассуждениях об ее логической правомерности. Ученые (как заметил Ричард Фейнман) в этом уподобляются птицам, которым нет никакого дела до теоретических утверждений тех, кто их изучает (орнитологов). Конечно, Фейнман несколько преувеличил независимость ученых от философии. По-видимому, наука независима от философии в той же степени, в какой данные наблюдения (факты) независимы от интерпретации. После же критической рефлексии постпозитивизма по поводу логико-позитивистского проекта формализации смысла число сторонников идеи независимости фактов от интерпретации существенно уменьшилось. Поэтому, как ни тривиальна нам покажется компромиссная идея отношений взаимного и равноправного ограничения между фактическими и теоретическими событиями нашей чувственной и интеллектуальной жизни (между наблюдениями и понятиями),

но, как минимум, в свете реконструкции истории философии науки XX в. она выглядит единственно приемлемой по сравнению со своими экстремальными альтернативами.

Однако же эта идея, как и любая другая универсальная философская идея, оперирующая раз и навсегда зафиксированными терминами, в данном случае такими, как «наблюдения» и «теория», остается совершенно пустой и бесполезной, будучи ограничена уровнем эпистемологии. Отдавая каждому из «соперников» его должное, она обладает, конечно, силой действия хорошего успокоительного, но совершенно лишена внутренней динамики. Для того чтобы извлечь из нее действительно интересные следствия (то, что называется *makes a difference*, если прибегнуть к английской идиоме), нужно «расшатать» эту систему равноправных отношений, т. е. вывести ее на новый уровень (назовем его уровнем онтологии), для чего совершить следующий маневр: спросить о некоей общей мере, которая позволила бы сопоставить между собой язык фактов и язык теории. Этот маневр мы связываем с прагматическим подходом в философии науки, который, как мы заметили выше, открывает возможность для того, чтобы вывести язык за пределы языка. Далее мы рассмотрим, какие решения проблемы языкового перевода предлагает прагматически ориентированная философия науки, и соотнесем ее усилия с прагматическим подходом в теории информации.

Мы определяем прагматический подход к проблеме языка как снятие противоречий между «формальным» тезисом и «смысловым» антитезисом. Такие представители прагматической философии науки, как Ян Хакинг и Питер Галисон²⁵ (а также, несомненно, многие другие) настаивают на необходимости найти средний путь между позитивистской строгостью и постпозитивистским «все позволено». Главная проблема сегодня (после необратимых постпозитивистских аргументов в пользу несоизмеримости) – понять устойчивость науки! – восклицает Хакинг²⁶. Галисон, чья экономическая метафора «зоны обмена»²⁷ побудила нас прибегнуть к рыночной аналогии, с которой мы начали наше рассуждение, отвергает как единый универсальный язык науки, так и полную непереваемость. В науке имеет место осмысленная и, главное, продуктивная коммуникация, которая, однако, не поддается формализации.

Рассмотрим концепцию зоны обмена, предложенную Галисоном. Зона обмена – это территория, на которой живущие по соседству носители разных языков и культур встречаются для взаимовыгодного общения – торговли и обмена материальными ценностями. При этом предметы и операции обмена, а также сопровождающие их вещи и процессы выступают в качестве «пограничных объектов» (boundary objects): они принадлежат одновременно двум (или более) различным знаковым системам (группам, культурам) и воплощают собой различные смыслы и ценности. Непереводимость этих смыслов и ценностей друг в друга, тем не менее, не мешает представителям разных сообществ/ носителям разных знаковых систем получать взаимную пользу от совместных торговых операций. «Несмотря на колоссальные глобальные расхождения, торговые партнеры могут договориться о локальной координации своих действий»²⁸. В локусе действия зачастую формируются особые языки контакта – пиджины, которые представляют собой неупорядоченные смеси исходных языков. Языковые выражения пиджинов имеют в качестве референтов «пограничные» процессы и объекты, а развитие или деградация этих языков обусловлены устойчивостью или, наоборот, неустойчивостью локальных торгово-хозяйственных практик. В случае продолжительного периода продуктивных контактов между группами примитивный пиджин может перерасти в более развитый и устойчивый креольский, который впоследствии станет родным для какой-либо части населения и превратится в самостоятельный язык. Как видно, здесь речь идет не о том, что успешно решенная проблема языкового перевода приводит к пониманию, а о том, что успешно решенная проблема совместного действия определяет появление новой знаковой системы – смешанного языка как общей границы понимания между разными группами.

Экстраполируя эту модель на научную практику, Галисон утверждает, что в науке также происходит своего рода торговый обмен между смыслами и наблюдениями, или между теоретическими предвосхищениями и фактическими результатами. В роли носителей разных знаковых систем при этом могут выступать, к примеру, представители трех субкультур физики – теоретики, экспериментаторы и инженеры. Они могут достичь согласия в отношении процедуры обмена и механизма определения “эквивалентности”

различных товаров, не осуществляя при этом полной редукции ни теорий к фактам, ни фактов к теориям. Но это происходит лишь тогда, когда выполняется некоторое условие обмена, а именно – когда наличествуют конкретные обстоятельства, объекты и процессы, которые являются «пограничными» для этих групп. Иными словами, это происходит, когда ученые работают совместно над какой-либо проблемой в одной лаборатории. Именно локальное понимание как следствие конкретных коллективных практик, а не универсальный перевод на универсальный язык обеспечивает динамику науки. Необходимость договариваться относительно конкретных вещей и процессов на конкретной территории вопреки абстрактным различиям приводит к новым результатам, которые впоследствии могут перерасти из, образно говоря, *ad hoc* пиджина в гораздо более стабильный креольский язык. Проанализировав ряд эпизодов из истории физики, Галисон приходит к следующему выводу: «Изучая, как графики и медные трубки циркулировали туда и обратно через границу культурного водораздела, можно было бы заключить, вслед за антипозитивистами, что миры теории, эксперимента и инженерной деятельности пересеклись, но не встретились. Такое описание, однако, никак не согласуется с тем, что говорят сами участники. У них есть средства общения, но общение происходит лишь по частным вопросам, а не путем глобального перевода культур и не через образование универсального протокольного языка. Резюме Галисона таково: лаборатории работают путем координации действий и убеждений, а не путем языкового перевода»²⁹.

Итак, что же, если не общий язык, обеспечивает понимание между участниками обмена информацией? Поставим вопрос несколько иначе: что позволяет ученым (да и всем людям) находить общий язык, обеспечивая условия его возможности? По-видимому, синтаксис и семантика, логическая необходимость и смысловая свобода способны свидетельствовать в пользу своей дополнителности на фоне того, чему они в равной степени принадлежат, а именно – человеческой деятельности. Коллективные практики порождают «пограничные» объекты и процессы, которые играют роль общей меры или «золотого стандарта» соответствия между данными чувственного опыта и содержанием языковых конструкций. Они, в конечном счете, обеспечивают и поддерживают пони-

мание, в пространстве которого языковой перевод оказывается возможным. Но допустимо ли говорить о них как о некоем стандарте? Ведь стандарт – это нечто неизменное. Деятельность же обычно наделяется характеристиками становления, а не бытия, т. к. она всегда направлена на то, чего еще нет. Она происходит в сфере возможного, а не действительного. С этим трудно не согласиться. Однако же на этот счет существует так называемое прагматическое правило, сформулированное Чарльзом Пирсом и Уильямом Джеймсом, которое фиксирует парадоксальную «нормативность» деятельности: лучше всего ценность любого понятия определяется при ответе на вопрос о том, что оно *изменяет* в поведении кого-либо, или каковы его практические последствия³⁰. Используя прагматический «стандарт изменения», настаивать на формальной эквивалентности таких, например, понятий, как «кролик» и «гавагаи», действительно проблематично, но допустимо говорить об их динамической (функциональной) эквивалентности. В лингвистических теориях концепция *динамической эквивалентности* указывает на фактор воздействия понятия на поведение реципиента как на то, что подлежит оценке и может служить критерием при языковом переводе.

В теории информации прагматический подход спрашивает не столько о структуре и содержании информации, сколько о годной к употреблению сумме сообщений. Передаваемое сообщение считается информативным в той мере, в какой оно изменяет поведение получателя, а это изменение, в свою очередь, зависит от того, насколько получатель подготовлен к принятию сообщения. Таким образом, с точки зрения прагматического подхода к анализу информации в процессе передачи данных происходит их обработка (переработка) с учетом ситуации применимости. Информация, следовательно, никогда не достигает получателя в первоизданном виде. Результатом ее движения от отправителя к получателю становится различие, нарушающее симметрию между исходными и конечными данными. Это различие зависит от времени и характеризуется необратимостью. Соответственно, только та информация имеет значение (является информацией), которая создает различие между прошлым и будущим состоянием системы. Образно говоря, если отлитых из «золота эйдосов» «гавагаи» и «кролика» поменять местами и их обладатели при этом не заметят подмены, то инфор-

мазия такого рода взаимообмена будет равна нулю. С точки зрения прагматической теории информации конвертация значений друг в друга предстает гораздо более сложным процессом (в отличие от редуccionистских моделей), в котором учитываются внутренняя структура системы и ее пространственно-временные характеристики. Так, в понятии динамической (или генетической) эквивалентности заключен фактор времени.

Примечания

- ¹ Здесь мы имеем в виду языковой перевод в самом широком смысле – как осуществление языковой коммуникации между индивидами, даже в рамках одного языка.
- ² *Malpas J.* The Linguisticity of Understanding // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/gadamer/>.
- ³ *Adriaans P.* Information // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/information/>.
- ⁴ *Floridi L.* Semantic Conceptions of Information // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/information-semantic/>.
- ⁵ *Quine W.V.O.* Word and Object. MIT Press, 1960; *Quine W.V.O.* Ontological Relativity and Other Essays. Columbia Univ. Press, 1969.
- ⁶ Об этом писал, например, Карл Поппер: «...концентрируясь на своем методе построения миниатюрных модельных языков, они (сторонники лингвистического анализа языка науки. – *О.С.*) проходят мимо наиболее волнующих проблем теории познания... Изошренность инструментов не имеет прямого отношения к их эффективности, и практически ни одна сколько-нибудь интересная научная теория не может быть выражена в этих громоздких, тщательно детализированных системах. Эти модельные языки не имеют никакого отношения ни к науке, ни к обыденному знанию здравого смысла» (*Поппер К.* Логика научного исследования. М., 2004. С. 19).
- ⁷ *Макеева Л.* Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 63. М., 2004. С. 19.
Макеева Л. Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 63–75; В «семантический период» Карнап признает, что задачей философии является семиотический анализ, который содержит равноправные прагматический, семантический и синтаксический аспекты (*Carnap R.* Foundations of Logic and Mathematics // International Encyclopedia of Unified Science. Vol. 1. No. 3. Chicago, P. 3–18).
- ⁸ *Гайденко П.П.* Научная рациональность и философский разум. М., 2003. С. 347–417; *Daston L., Galison P.* Objectivity. N.Y., 2007; *Friedman M.* Reconsidering logical positivism. Cambridge Univ. Press, 1999. P. 89–165.
- ⁹ *Daston L., Galison P.* Objectivity. N.Y., 2007.

- ¹⁰ *Daston L., Galison P.* Objectivity. N.Y., 2007. P. 253–254.
- ¹¹ Искусственные измерительные инструменты в отличие, например, от биения пульса, посредством подсчета которого, как известно, Галилей проводил количественное исследование падения тел, обеспечивают более строгую периодичность. См. об этом: *Карнап Р.* Философские основания физики. М., 2006. С. 127–136.
- ¹² *Макеева Л.* Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 63–75.
- ¹³ *Карнап Р.* Философские основания физики. М., 2006. С. 109, 118.
- ¹⁴ *Carnap R.* The methodological character of theoretical concepts / H. Feigl & M. Scriven (eds.). The foundations of science and the concepts of psychology and psychoanalysis. Minnesota studies in the philosophy of science. Vol. I. Minneapolis, 1956. P. 38–76. Излагается по: *Friedman M.* Carnap on theoretical terms: structuralism without metaphysics // *Synthese*. 2011. Vol. 180. Issue 2. P. 249–263. См. также: *Куайн У.В.О.* Слово и объект. М., 2000. С. 361–362.
- ¹⁵ Как пишет Куайн, даже непосредственная оstenсия, при которой термин, оstenсивно объясняемый, относится к тому, что содержит точку оstenсии (точку, в которой линия указывающего пальца впервые пересекает непрозрачную поверхность) «заключает в себе неопределенности, и эти неопределенности общеизвестны. Ведь заранее не ясно, в каких размерах должна мыслиться окружающая среда точки оstenсии, чтобы быть охваченной термином, оstenсивно объясняемым. Неясно также, насколько далеко предмет или вещество могут отстоять от того, на что сейчас направлена оstenсия, чтобы все же быть охваченными термином, оstenсивно объясняемым» (*Quine W.V.O.* Ontological relativity // *The Journal of Philosophy*. Vol. 65. No. 7. (Apr. 4, 1968). P. 194. Перевод с англ. яз. А.А.Печенкина: *Куайн У.В.О.* Онтологическая относительность // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. М., 1996.
- ¹⁶ Подтвердив тем самым утверждение Галилея о том, что книга природы написана языком математики.
- ¹⁷ Алан Тьюринг определил искусственный интеллект через возможность поддерживать осмысленный разговор с человеком.
- ¹⁸ См. об этом: *Касавин И.Т.* Социальная эпистемология: фундаментальные и прикладные проблемы. М., 2013. С. 54–58.
- ¹⁹ Некоторые футурологи обещают, что в течение пары следующих десятилетий тест Тьюринга будет пройден.
- ²⁰ *Penrose R.* The emperor's new mind: concerning computers, minds, and the laws of physics. Oxford University Press, 1989 (*Пенроуз Р.* Новый ум короля. М., 2004); *Serale J.R.* A re-discovery of the mind. The MIT Press, 1992 (*Серл Дж.* Открывая сознание заново. М., 2002); *Dreyfus H.L.* What computers still can't do: a critique of artificial reason. The MIT Press, 1992; *Collins H.M.* Artificial Experts: Social Knowledge and Intelligent Machines. The MIT Press, 1990. **Перечисленные авторы** обращают внимание на то, что деятельность сознания по производству и пониманию смыслов характеризуется неалгоритмичностью, т. е. невычислимостью, или разрывами логико-математической структуры. При этом они по-разному обосновывают неалгоритмичность смысла и понимания. Пенроуз

- опирается на неклассическую естественнонаучную онтологию, а именно на квантовые эффекты и запутанные квантовые состояния, определяющие природу сознания, которые не могут быть описаны в терминах двузначной логики и по отношению к которым, соответственно, не применим алгоритм, основанный на дискретных состояниях «все или ничего»; Серл апеллирует к внутренне присущему сознательной системе свойству – интенциональности, которая не может быть редуцирована к внешним отношениям элементов этой системы; Дрейфус в своей критике искусственного интеллекта также опирается на интенциональность, связывая ее с культурно-биологической телесностью познающего субъекта, обеспечивающей контекстуализм знания; Коллинз придает меньше значения индивидуальной телесности и больше – неформализуемому языку общения, в котором в виде немого (*tacit*) знания заложена коллективная (социальная) телесность (интенциональность, практика).
- 21 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 79–95. Хотя говорить о том, что *одни и те же* факты приводят к разным интерпретациям, некорректно по той причине, что вследствие теоретической нагруженности невозможно сравнить их друг с другом в чистом виде.
- 22 Это обстоятельство отражено в концепции экспериментального регресса (*experimenter's regress*), выдвинутой Гарри Коллинзом (*Collins H. Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice*. L., 1985. P. 79–111). Ученые могут считать результаты эксперимента правильными при условии правильно функционирующего экспериментального аппарата, но правильность его функционирования подтверждается правильными результатами, которые этот аппарат продуцирует. Следовательно, если бы ученые не обладали некоторой заранее данной неформализуемой теорией экспериментального аппарата и его функционирования, прогресс экспериментального знания (т. е. получение устойчивых экспериментальных результатов, принятых научным сообществом) был бы невозможен.
- 23 Интересно, что тезис о теоретической нагруженности фактов и тезис о недоопределенности теории опытом противоречат друг другу. Первый говорит о том, что не существует «голых фактов» – что считать фактом, определяет теория. Второй же допускает самостоятельное существование нейтральных фактов (их нейтральное описание), которые могут входить в разные теории. Избавиться от этого противоречия можно, если принять, что теория отчасти определена фактами, т. е. частично нагружена фактами (= недоопределена фактами), а факты отчасти определены теорией, т. е. частично нагружены теорией (= недоопределены теорией): два множества пересекаются. Если же мы полностью редуцируем факты к теории, то говорить об эмпирически эквивалентных теориях невозможно.
- 24 Oberheim E., Hoyningen-Huene P. The Incommensurability of Scientific Theories // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/incommensurability/>.
- 25 Сегодня этих философов, а также Нэнси Картрайт, Патрика Суппеса, Джона Дюпре причисляют к так называемой «Стэнфордской школе» философии науки, которая отстаивает онтологический, эпистемологический и методологиче-

- ский плюрализм науки. См. об этом: *Cat J. The Unity of Science* // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/scientific-unity/>.
- 26 *Hacking I. The Social Construction of What?* Harvard Univ. Press, 1999. P. 85.
- 27 *Galison P. Trading zone. Coordinating Action and Belief* // The Science Studies Reader / Ed. by M.Biagioli. N.Y., 1999. P. 137–160. Далее цитируется по русскому переводу: *Галисон П. Зона обмена: координация убеждений и действий* / Пер. с англ. В.А.Геровича // *Вопр. истории естествознания и техники*. 2004. № 1. С. 64–91.
- 28 Там же.
- 29 Там же.
- 30 Джеймс и Пирс, однако, разошлись в деталях трактовки прагматического правила. См. об этом: *Hookway Ch. Pragmatism* // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Winter 2013 Edition) / E.N.Zalta (ed.). URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/pragmatism/>.

Л.А. Маркова

Понимание, а не познание окружающего мира

Ludmila Markova. Understanding but not knowledge about the world

Природа уже не безмолвный, независимый от человека предмет познания, законы существования которого надо *познать*, чтобы использовать природу для своих потребностей. Окружающий нас мир одушевлённый, на предметы этого мира следует смотреть как на произведения, имеющие автора, которого надо *понять* и на этом основании установить с ним взаимопонимание.

Ключевые слова: Человек, окружающий мир, познание, понимание, ум, мышление

The nature is not more silent, independent of man, object of knowledge whose laws we have to *cognize* to use nature for our needs. The world around us is animated, we should consider the things of this world as works, which have their author. We have to *understand* the author and to establish mutual understanding with him.

Keywords: human, surrounding world, cognition, understanding, mind, thinking

1. Элементы мира – это вещи

И для классической, нововременной науки, и для философии этого периода весь окружающий мир, включая человека как индивида и все созданные им социальные, экономические, культурные структуры, воспринимались как предмет, который надо познать. Отношение к человеку как и социальному, и биологи-

ческому существу строилось по образцу отношения к природе в рамках естественных наук. Речь не идёт, разумеется, о всех без исключения направлениях человеческой мысли и деятельности в любых вариантах их реализации в действительности. Но чтобы рационально отнестись к своему окружению средствами науки и философии (а философское мышление строилось по образцу естественнонаучного), необходимо воспроизвести это окружение как полностью автономное.

Оно, это окружение, существует независимо от человека. Оно лишено красок, эмоций, переживаний, способности общения с учёным, создающим математические конструкции научных теорий (математическое естествознание) и обязанным максимально исключить следы своей собственной исследовательской деятельности из получаемого результата. Разумеется, в эмпирической действительности имеется масса обстоятельств, сопутствующих работе учёного и так или иначе влияющих на ход исследования, но философ при анализе классической науки с полным правом их игнорирует. Познать природу надо такой, какая она есть, без учёта присутствия в ней человека и его деятельности. То, что природа такова и иной быть не может, принимается без обсуждения, как аксиома. Этот подход свойственен наукам, изучающим тело человека с точки зрения его биологических, физиологических свойств. Но и философами научное мышление людей исследуется в первую очередь путём анализа результатов мыслительной деятельности, которые в качестве «чёрных ящиков» используются на практике в самых разнообразных её проявлениях. В XX в. в рамках аналитической философии осуществляется поворот к языку как предмету познания вместо окружающего человека мира.

2. Расшатывание основ классики

Однако в XX в. ум философа в какой-то мере приспособился к необходимости воспринимать научное знание как зависимое от способов его получения, от особенностей учёного и его окружения. Но в какой мере это связано с нашим отношением к окружающей нас действительности? Известный математик и физик Р. Пенроуз

задаётся вопросом, на который у него нет, похоже, однозначного ответа: если прибор и манипуляции учёного с этим прибором в ходе экспериментирования меняют поведение микрочастицы, то означает ли это, что сам микромир меняется? Если так, то не получается ли, что любое соприкосновение природы с научной, как минимум, деятельностью человека изменяет структуру мира? Или же речь здесь идёт только об особенностях экспериментирования в области микрочастиц, особенностях, которые всё-таки сам предмет изучения оставляют неизменным?

По-видимому, такой эффект от процедуры исследования всегда имеет место, но в классической науке он не учитывается и не должен учитываться. Например, не принимается во внимание такой известный факт, что измерение в физике не может быть абсолютно точным, в силу того, что эта процедура всегда сопровождается массой случайных, малозначимых обстоятельств, которыми в рамках классической науки просто необходимо пренебречь, хотя они и влияют, пусть очень незначительно, на получаемый результат. Или эксперимент, подтверждающий теоретическое положение, считается воспроизведённым, если он осуществлён при строго обозначенных условиях. При этом все сопутствующие элементы условий его проведения как не имеющие значения не учитываются.

Между тем в философский ум закрадывается сомнение: так ли независим от нас окружающий нас мир? Разумеется, за пределами науки и философии каждый из нас неоднократно убеждается, что мы своей деятельностью этот мир меняем: добываем полезные ископаемые, одомашниваем животных, выводим новые сорта растений, меняем течение рек и строим электростанции, уничтожаем леса, а вместе с ними и целые виды животных и растений и т. д. Но в целом природа продолжает жить по своим законам. Мы как бы одомашниваем её, создавая свой искусственный мир. Важно, однако, что мы строим этот мир в соответствии с законами, открытыми в естествознании, которым подчиняется природа и которые от нас не зависят. Мы строим дом, учитывая теплоизоляционные свойства дерева и кирпича, их прочность, и только после изучения этих и многих других свойств этих материалов выбираем один из них или отказываемся от обоих.

Не будем останавливаться на ставших значимыми таких течениях в философии как диалогизм, интерсубъективизм, коммуникационизм, которые много обсуждались последнее время и в которых основное внимание уделяется построению научного знания с точки зрения его авторства. Понимание знания сближает здесь научный результат с произведением искусства, где назвать автора часто бывает достаточно, чтобы понять, о чём идёт речь. Однако такой поворот в истолковании мышления в сторону его субъектного полюса неизбежно ставит вопрос о нашем подходе и к реальности окружающего мира, который воспроизводится в научном знании такого типа. В эмпирической реальности есть всё, но в теоретическом знании учитываются и берутся в качестве базовых лишь определённые её свойства.

В классическом математическом естествознании в качестве основополагающих вычленились количественные характеристики. Механика трактовалась как математика, и реальный мир нашего опыта был заменён геометрическим миром, реальное объяснялось невозможным. А.Койре в своих работах по истории науки подчёркивает парадоксальность исходных положений классической науки. Галилею, пишет Койре, потребовалась колоссальная смелость, чтобы заявить, что книга природы написана геометрическими знаками. «...эти тела, движущиеся по прямым линиям в бесконечно пустом пространстве, являются не реальными телами, движущимися в реальном пространстве, а математическими телами, движущимися в математическом пространстве»¹. В результате наука заменила нам качественный мир чувственных восприятий, мир, в котором мы живём, любим и умираем, на другой мир, в котором есть место для всего, кроме самого человека.

Койре отмечает те невероятные трудности, которые пришлось преодолеть человеческому уму, чтобы освоить новый (по сравнению с аристотельским) взгляд на мир. И именно от этого взгляда, ставшего за три столетия столь привычным не только в науке и философии, но и в обыденной жизни, нам теперь кажется невозможным отказаться. Между прочим, мой коллега (увы, он уже ушёл из жизни), Борис Семёнович Грязнов, говорил: если мы хотим проанализировать мышление определённой эпохи, необходимо приглядеться к тому, как думают люди в своей повседневной жизни. Он прав, философский и научный способы мышления по-

степенно завоёвывают бытовую сторону жизни человека. И это обстоятельство усугубляет трудности перехода к другому восприятию окружающего мира и для учёных, и для философов. Ведь они тоже люди и разделяют со своими современниками привычный образ жизни и соответствующий способ взаимопонимания.

3. Новое знание – новый мир

Утверждение нового типа знания, и в науке, и в философии, с необходимостью чего в той или иной степени все соглашались, повлекло за собой возникновение очень трудной проблемы, а именно, проблемы релятивизма. Трудность решения этой проблемы стала основным аргументом для сторонников классики при отстаивании ими их позиций. Действительно, если получаемый в науке результат зависит от условий его рождения в той или иной лаборатории, в голове конкретного учёного, обладающего своими индивидуальными особенностями, короче говоря, если появление нового знания в науке зависит от контекста, который каждый раз другой, то невозможна одна истина об одном и том же предмете. Истин много, но может ли наука с этим смириться?

Если исходить из того, что научное знание остаётся научным только в том случае, если знание и реальность находятся в определённых отношениях друг с другом, то из создавшегося положения не удастся найти выход, возвращаясь к классическому варианту, когда не только предмет, но и субъект познания один. В этом случае мы окажемся перед лицом всё тех же трудностей, которые вынудили философов выйти за пределы научного мышления Нового времени. Если же исходить из того, что и предметов тоже много, что конкретному субъекту познания соответствует конкретный предмет, то проблема релятивизма перестаёт быть актуальной, хотя признать этот тезис не легче, чем аристотельянкам согласиться с физикой Галилея.

В то же время возникает новая трудность, требующая преодоления какими-то новыми способами. А именно, как формируется этот предмет, соответствующий условиям его познания именно в этом месте и этим учёным? Вырабатывается понятие контекста, которое многое объясняет в разных вариантах его разработки.

Главное – в той мере, в какой учёный в качестве логического субъекта встраивается в философскую систему, проблема общения и понимания собеседника вытесняет понятие обобщения и познания предмета. Анализ понятия контекст демонстрирует, с одной стороны, активность, деятельность, значимость человека-учёного (не случайно такое распространение получило слово «актор»), с другой – встроенность вненаучной действительности в получаемое знание.

Мне кажется важным отметить следующую общую черту философских и социологических исследований науки последних десятилетий. Все они считают свойством учёного, философа способность конструировать предмет своего исследования. Сама по себе такая способность не является для философии чем-то уникальным. И наука, и философия всегда имеют дело с идеализациями, для которых нет прямого аналога в реальности. Абсолютно ровной поверхности, математической точки, абсолютно пустого пространства не существует в действительности. Однако механика Ньютона, построенная на идеализациях такого рода, позволяет нам изготовить пушечное ядро соответствующей формы и из соответствующих материалов, для которого сопротивление среды будет минимальным, а скорость, в результате, максимальной. Между тем важно, что законы классической механики справедливы для всего окружающего мира, в то время как, по мнению современных философов, конструкции создаются для определённых условий и данного учёного, для познания конкретного предмета окружающей среды. При этом обычно предполагается, что предмет познания реально существует, но в разных условиях может быть изучен разными средствами с неодинаковыми результатами. При этом все результаты равноценны. Разнообразие получаемых результатов обеспечивается тем, что человеку, всегда другому в других условиях, а не предмету, отдаётся предпочтение в формировании знания. Сам предмет в познавательном процессе присутствует как сконструированный человеком в соответствии с его, человека, индивидуальными, субъектными характеристиками. В отличие от механики Ньютона, где математические характеристики идеального предмета извлекаются из предмета познания как свойственные всем другим предметам. И тяжёлый предмет, и пушинка падают в безвоздушном пространстве с одинаковой ско-

ростью. В конструктивистских системах предмет фигурирует как один из многих, каждый соответствует своему контексту. Угроза релятивизма в этом случае всё-таки сохраняется, хотя и в менее жёсткой форме. Где-то в реальной действительности предмет познания существует, но каждый учёный изучает свою идеальную конструкцию этого предмета.

Возникает вопрос, нельзя ли любую вещь окружающего мира, а не только её конструкцию, созданную человеком, и не только самого человека, понять как обладающую собственной автономностью, своими основаниями, своей способностью реагировать на окружение, в том числе и на человека? Если мы допускали возможность в рамках классического естествознания смотреть на человека как на вещь, то почему нельзя на вещь смотреть как на имеющую своего автора, создателя, наделившего её способностью по-своему реагировать на поведение человека и на его отношение к ней? Другими словами, как на сознательное существо? Поворот мышления в этом направлении мы можем увидеть в диалогике В.Библера. Он предлагает свой выход из положения. Когда мы сталкиваемся в нашем окружении с чем-то, что невозможно объяснить с помощью имеющейся в нашем распоряжении логики, надо это чуждое нашему пониманию нечто превратить в другую логику и вступить с ней в диалог. Тем самым Библер превращает вещь в иную логику, способную к диалогу, в отличие от конструктивизма, который встраивает вещь на базе своей собственной логики. Этим шагом мы встраиваем непонятое нами в систему наших сугубо человеческих диалогических отношений.

Без ответа остаётся, однако, вопрос. Продолжает ли играть какую-либо роль, и если да, то какую, материальная, природная составляющая нашего общения? Или же мы оказываемся исключительно в мире мысли? Мы втягиваем в структуру своего мышления природный мир, означает ли это, что он утрачивает право голоса? Или же для общения нам следует не столько изобретать для него логику или переносить на него свою собственную, как научиться понимать его способ самовыражения как автономного, самодостаточного предмета-существа? Не случайно, по-видимому, сейчас часто ставится вопрос о натурализме. После минимизации значения предмета в неклассическом мышлении возникают свои трудности в науке, их надо как-то преодолевать.

4. Поиски равноправия в отношении человек – природа

Остановимся на некоторых попытках установить «дружеские» отношения с окружающим миром, вместо того чтобы смотреть на него исключительно как на предмет познания, покорения и использования в своих интересах. В большинстве случаев эти попытки носят эмпирический характер, но, тем не менее, дают представление о причинах озабоченности философов и социологов положением дел в науке и общественной жизни. В последнее время появилось много публикаций, где способность человека мыслить рассматривается в контексте пересмотра картезианского тезиса о существовании *res extensa* и *res cogitans*. Исследования в этом направлении ведутся, в том числе, и в рамках Extended Mind Thesis (EMT), «Тезис о расширении пространства ума».

Г.Тейнер и О.Палермос в ноябре 2013 г. дали интервью Г.Сэндстрому, который воспроизвёл его основные тезисы в журнале *Social Epistemology Review and Reply Collective*². Интервью было взято в Польше 9 ноября 2013 г. на конференции по теме «Современные направления в междисциплинарных исследованиях». Основное внимание в интервью было обращено на EMT, анализу которого было посвящено как минимум шесть сообщений. Тернье ссылается на Кларка Энди (Andy Clark), у которого есть немало работ на тему EMT, и который заставил Тернье задуматься о переосмыслении картезианства в направлении отказа от ограничения ума рамками духовности. В то же время нельзя, полагает Тернье, опускать ум на материальный уровень. Вместо этого важно понять, что «человеческие существа приобретают специфичность в силу распространения нашей способности думать и познавать в нашем окружении, в мире физическом, социальном и культурном»³. Отметим, что упоминается и физический мир.

Палермос хочет включить EMT в философию науки с тем, чтобы объединить как индивидуальных учёных, так и общество в исследовательском процессе. Об этом же говорит и Тейнер, который называет EMT «мощной идеей, которая потенциально могла бы сблизить когнитивную науку, психологию, а также философию с гуманитарными и социальными науками»⁴. EMT позволяет показать, что познание не заключено исключительно в голове, делает очевидным, что оно распределено за пределами индивидуального

человеческого мозга. Это, в свою очередь, служит преодолению классического картезианского дуализма ума и материи, субъективного и объективного, *res extensa* и *res cogitans*.

По мнению Палермоса, работы, проведённые по теме ЕМТ за последние пять лет, убеждают нас в логической правомерности утверждений, что процессы, позволяющие людям решать умственные, когнитивные задачи, действительно должны быть размещены за пределами их мозга, как ни странно на первый взгляд это выглядит.

В конце интервью были затронуты некоторые футуристические аспекты технического развития и всё растущее признание распределённой вширь личности (*personhood*). «ЕМТ говорит нам, что техника представляет собой “экстернализованную форму человечности” (*humanity*)»⁵. По словам Тейнера, это позволит нам установить сотрудничество с техникой, а не вступать с ней в антагонистические и соревновательные отношения. Мы сможем также выстроить более тесную, чем сейчас, взаимосвязь с нашим социальным и природным окружением.

Такого рода гуманизация окружающей среды порождает следующую проблему. Если мир, в котором мы живём, обладает человеческой способностью мыслить, то как научиться с ним общаться и почему до сих пор мы к этому неспособны?

На этот вопрос пытается ответить С.Фуллер, который в последнее время опубликовал на эту и родственные темы ряд статей, давал интервью, делал доклады на соответствующих международных конференциях. Так, 6–8 декабря 2013 г. Йельский университет организовал конференцию под названием «Личность за пределами человеческого» (*Personhood Beyond the Human*), на которой Фуллер присутствовал и выступал с докладом. Он считает, что эта конференция самая интересная и значимая из всех, в которых он когда-либо участвовал. Есть у Фуллера, однако, возражения, которые он высказывает по ряду поводов. Главное его несогласие состоит в том, что, по его мнению, следует говорить не о постгуманизме (за пределами человеческого), а о трансгуманизме (общении в пределах человеческого). На конференции речь шла в основном о законном распространении личности на животных, прежде всего на приматов и морских млекопитающих. Для исследований такого рода, полагает Фуллер, действительно, больше подходит

понятие постгуманизм, хотя спонсирующая конференцию организация, «Институт этики и новейших технологий», позиционирует себя обычно как мозговой центр «технопрогрессивного» трансгуманистического мышления.

Фуллера можно понять так, что мышление является новым не в том смысле, что оно заменит современное человеческое в качестве постгуманистического, а в том, что человеческое мышление именно в качестве человеческого распространится в мире как доступное всем существам, вещам, предметам, этот мир формирующим. Но если это будет реализовано, то неизбежно встанет вопрос о формировании личности у обладающих человеческим мышлением и об их правах – таких же, как у людей. Характеризуя и сравнивая позиции сторонников прав животных и прав машин, Фуллер вычленяет следующие различия между ними. Борцы за права животных говорят о заповедниках и других специально выделенных местах, предоставляющих животным возможность жить в согласии с их биологией. Активисты в борьбе за права машин поощряют всё увеличивающееся взаимодействие и даже интеграцию машины с человеком как часть открытого в будущее процесса взаимообучения и взаимоаккомодации. В некоторых вариантах такого подхода машины могут даже превзойти человека и доминировать над ним.

Фуллер соглашается с позицией участника конференции Д.Брина, который опирается на идеи Дж.Гексли (середина прошлого века), в той её части, где высказывается мысль об эволюции человека как о совершенствовании его морали. Именно мораль служит как бы рычагом для нашего самопреодоления, и, согласно Брину, также и для самопреодоления других видов. Фуллер присоединяется к таким людям, как Гексли и Брин, которые верят в то, что история науки и техники говорит в пользу искреннего, открытого, продуктивного, хотя, конечно же, непростого разговора с более широкой реальностью, которая, похоже, всегда подталкивает нас к этому. «В любом случае, – утверждает Фуллер, – при том что в нас зарождается осознание того, что значит хорошая жизнь для нас, почему бы не распространить это понимание на всю природу? Да, мы можем потерпеть неудачу, но и в этом случае... нет причины думать, что жизнь будет успешно развиваться без такого нашего прямого невмешательства»⁶.

5. О новых способах присутствия мышления в окружающем мире

Вкратце, очень неполно, перечисленные выше способы преодоления картезианства (в его определённой интерпретации) в понимании мышления, способы, получившие распространение в последние одно-два десятилетия, несмотря на их в ряде случаев серьёзные различия, имеют, тем не менее, одно общее основание: их авторы исходят из того, что субъектов мышления может быть много и все они могут мыслить одинаково, по-человечески. В связи с этим обсуждаются определённые темы, которые прежде не представляли интереса, а теперь кажутся странными, нелепыми и уж во всяком случае никак не относящимися ни к философии, ни к социологии⁷. Предполагается, что мышление человека должно быть распространено на окружающий нас мир. И это не в том смысле, что мы своим умом должны этот внешний мир познать, а в том, что следует наделить человеческим умом составляющие этого мира. Мир становится одушевлённым, думающим, и его надо не столько познать, изучить, сколько понять и установить с ним взаимопонимание на уровне ума. Важный момент, присутствующий в рассуждениях такого рода, состоит в следующем. Имеется в виду распространение не результатов мыслительной деятельности людей, а процессов этой деятельности. Другими словами, задумывается программа обучения мышлению.

Нельзя сказать, что мышление человека прежде отсутствовало в окружающем мире, а тем более в искусственно созданном окружении. Именно наука лежит в основании как промышленного капиталистического производства, так и в конструкции создаваемых им продуктов. Но до самого последнего времени ни сам процесс производства, ни производимая им продукция не обладали мышлением. Они функционировали по законам природы, которая познавалась естествознанием как неодушевлённая, противостоящая человеку мыслящему (по Декарту). Однако в постиндустриальную эпоху конца XX – начала XXI в. создаваемая человеком искусственная среда начинает мыслить, и техника, её создающая, тоже мыслит.

Невольно возникает вопрос: если материальную, техническую конструкцию, компьютер, можно научить мыслить, то нельзя ли добиться того же, имея дело с живыми существами,

особенно с теми, которые ближе всего к человеку, с млекопитающими? И далее, а что можно сказать о всех прочих материальных вещах окружающего нас мира? Нельзя ли и их тоже наделить способностью мыслить, распространить на них процессы нашего мышления? Не случайно робототехника фигурирует неоднократно на конференциях и в публикациях последних лет, где речь идёт о коммуникации с окружающим нас миром. Напрашивается вывод, что мир этот надо не столько познавать, сколько понимать.

Я готова согласиться с тем, что наше отношение к миру необходимо менять, что мир требует понимания и «доброжелательного» к нему отношения, что нельзя наше природное окружение использовать в своих интересах, не задумываясь о последствиях. Всё это так, и не надо быть ни учёным, ни философом, ни социологом, чтобы с этим согласиться. Проблемы экологии широко обсуждаются и на бытовом уровне. Однако я не согласна со способами решения возникших трудностей, которые предлагаются специалистами и которые базируются на определённых философских представлениях о мышлении. Нельзя научить животных (и не нужно) думать по-человечески, тем более этого невозможно добиться с неодушевлёнными предметами. Но это не значит, что мы не можем, что мы не должны перестроить своё отношение к окружающему миру в русле понимания, а не познания.

Отметим такую, очень важную особенность нового мышления, о котором идёт речь. По замыслу, все представители одушевлённого мира думают одинаково, по-человечески. На этом основании выстраивается их способность сформировать свою автономность, свою личностность, и они могут претендовать на этом основании на равные с человеком права. Не будет ли в идеале такой мир представлять собой некоторое образование, целостность которого обеспечивается единством мышления всех составляющих его частей, включая, разумеется, и человека, другими словами, одним субъектом общения? Похоже, в этом случае проблема понимания снимается, понимать некого, да и познавать некого. Все предметы окружающего мира представлены мышлением, одинаковым для всех.

6. О некоторых идеях русского космизма

В конце XIX – первой половине XX в. в России сформировалось течение мысли под общим названием русский космизм, к которому примыкали очень известные мыслители: русский космизм П.А.Флоренского, христианский космос В.С.Соловьёва, философия общего дела Н.Ф.Фёдорова, третий синтез космоса В.И.Вернадского, космическая философия К.Э.Циолковского и целый ряд других философов и учёных.

П.А.Флоренский считал, что человек и мир идеально родственны друг другу, что они пронизаны друг другом, взаимосвязаны подобно тому, как макрокосмос и микрокосмос. «Мир есть раскрытие Человека, проекция его».

К.Э.Циолковский писал, что судьба существа зависит от судьбы Вселенной. Существо – это не только человек. Согласно космической философии «простейшее существо» – это «атом-дух». Космос – иерархия существ, включая человека. Космос – живое существо, причина и воля которого в строгих рамках определяет поведение человека и других существ космоса. Активно-эволюционный принцип космизма, по Циолковскому, это судьба вселенной, которая зависит от космического разума, т. е. от человечества и других космических цивилизаций, их преобразовательной деятельности. И с другой стороны: судьба существа зависит от судьбы вселенной. Принцип атомистического панпсихизма у Циолковского связан напрямую с пониманием материи. Он писал, что он не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность всей Вселенной. Это свойство он считает неотделимым от материи. Все тела Вселенной, по убеждению Циолковского, имеют одну и ту же сущность; одно начало, которое мы называем духом материи. Атом-дух есть неделимая основа или сущность мира. Она везде одинакова. Животное есть вместилище бесконечного числа атомов-духов, так же, как и Вселенная. Из них она только и состоит, а материи, как её прежде понимали, нет. Есть только одно нематериальное, всегда чувствующее, вечное неистребляемое, неуничтожимое, раз и навсегда созданное или всегда существовавшее. Атом-дух – это элемент метафизической субстанции, лежащей в основе мира и отличной от элементарных частиц в современной физике. Принцип монизма выражает един-

ство субстанциональной основы мира, образуемой «атомами-духами». Материя едина, и основные свойства её во всей Вселенной должны быть одинаковы.

Русский космизм представляет для нас интерес в силу нескольких причин. Прежде всего, окружающий нас мир предстаёт перед нами в рамках этого учения как одушевлённый, что сближает приверженцев космизма с позицией исследователей мышления наших дней, о взглядах которых говорилось выше. Во-вторых, одушевлённость мира как целого, включая человека, определяется одним началом, упорядоченным космосом, или Богом, или кармой, или самим человеком как микрокосмосом. Не столь важно, как назвать это общее начало. Главное – исчезает различие между духом и материей, к чему склоняются и к чему стремятся философы сегодня. Для них мышление тоже уже не противостоит материальному миру, идеи Декарта переосмысливаются.

7. Заключение

Однако, на мой взгляд, далеко не всё в космизме способствует решению существующих сейчас проблем. В том числе и то, что сближает космизм с ЕМТ и со сторонниками прав животных. Я имею в виду (выше я уже упоминала об этом), что препятствием является общее, именно общее начало для всех элементов, населяющих мир. На базе допущения этой общности строится схема распределения человеческого ума по всему миру. Все предметы мира способны, пусть в идеале, мыслить как человек. Ум человека – это базис всех и всего, это образец, которому надо следовать и под который надо подтягиваться. Человек устраивает свою жизнь так, как ему удобно, и почему-то уверен, что для всех остальных населяющих мир его соседей такой дом тоже не может не быть желанным. Но почему-то не учитывается такой очевидный факт, что даже в рамках человечества для разных народов, культур и религий едва ли пригодны одни и те же условия жизни, законы и права. Что уж говорить о высших млекопитающих.

Только что сказанное не означает, что коммуникация с окружающим миром не меняется. Она перестаёт быть познавательным отношением к миру, которое служит основанием для его по-

корения и использования. Новый тип коммуникации предполагает отношение к окружающему как к произведению, имеющему своего создателя-автора. Для успешного общения угадывается замысел автора, понимание которого позволяет установить контакт. Дело не обстоит таким образом, что автор один и на все предметы мира он распространяет свой тип ума. Именно так предлагают действовать представители ЕМТ и сторонники прав животных. Роден, когда он из куска мрамора высекает руку человека, заранее узнаёт свойства материала, с которым ему предстоит работать. Каким этот мрамор был задуман его творцом, какие свойства были в него заложены? Разговор ведётся не с куском камня, который существует полностью независимо и от скульптора, и от своего создателя. Общение осуществляется через понимание друг другом автора деятельности и автора-создателя мрамора. И это взаимопонимание учитывает особенности материала, заложенные в мраморе природой или Богом (создателем), и индивидуальность скульптора, для которого именно этот материал подходит или не подходит.

Если речь идёт о животном, которому мы желаем блага, следует, по-видимому, прежде всего понять, каким оно создано, что для него хорошо и что плохо, учитывая, что животное – это не человек и нельзя на него просто распространить наши человеческие потребности, права и обязанности. Животное обладает своими собственными, данными ему от природы правами, которые надо уважать. Если животному миру и природе в целом будет комфортно жить на Земле, будет хорошо и нам, людям. Я готова согласиться с Фуллером, когда он говорит: что хорошо нам, хорошо и животным. Но я согласна с этим только в том случае, если к сказанному добавить: что хорошо животным, хорошо и человеку. Действительно, мы не меньше животных заинтересованы в сохранении природы, экологические проблемы мешают нам жить не меньше, чем всему живому миру, независимо от степени обретения им человеческого ума.

Примечания

- ¹ *Koyre A.* Galileo and Plato // *Metaphysics and Measurement*. Harvard, 1968. P. 34.
- ² *Extending Knowledge and the Extended Mind* // *Social Epistemology Review and Reply Collective*. 2014. Vol. 3. № 2. P. 34–37.
- ³ *Ibid.* P. 34.
- ⁴ *Ibid.* P. 35.
- ⁵ *Ibid.* P. 360.
- ⁶ *Fuller S.* ‘Personhood Beyond the Human’: Reflections on an Important Conference // *Social Epistemology Review and Reply Collective*. 2014. Vol. 3. № 2. P. 11.
- ⁷ Свои соображения по поводу идей Фуллера я высказала в комментарии к его тексту: *Markova L.A.* The Humanisation of the Surrounding World and the Technisation of Humans // *Social Epistemology Review and Reply Collective*. 2014. Vol. 3. № 3. P. 49–52.

Понимание в научной коммуникации*

Часть первая

Alexander Antonovsky. On the understanding of scientific laws. Social epistemology of scientific communication

Статья посвящена вопросу о том, возможно ли рассматривать научные исследования как обычную коммуникацию обычных людей, каковыми, безусловно, остаются ученые. В этой связи мы формулируем социоэпистемологический тезис, что коммуникативные стратегии, как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях не могут не перекликаться. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают понимание и, как следствие, акцептацию запросов на контакты. Как раз в этом смысле нас будет интересовать сходство в процессе понимания, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных объяснений.

Ключевые слова: понимание, объяснение, научные законы, система научной коммуникации, социоэпистемология

The paper is devoted to the question to what extent the science enterprise could be considered as a regular communication of common people. Because every science statement seems to pretend to figure not only as a new piece of knowledge but also as kind of personal achievement, and also as a demand to involve the Other into the communication system, which could be successful or not without any own worth of this very piece of knowledge. Thus, the genuine understanding (as conceivability) of such communication statement (understood as a kind of scientific consensus) figures as main condition of such knowledge generation.

Keywords: conceivability, explanation, scientific laws, science communication, social epistemology

* Подготовлено при поддержке РФНФ, проект № 12-03-00588а.

Введение: требования понимания как экстерналистский фактор научного познания

Возможно ли рассматривать научные исследования, в особенности высокоабстрактные теоретические построения, как обычную коммуникацию обычных людей, каковыми, безусловно, остаются ученые – при всей их особости, эрудированности, образовании и установках?¹ Ведь каждая новая математическая теорема является не просто математическим предложением², но и некоторым запросом на контакт, предложением общения, приглашением к дискуссии, требует проверки другими исследователями, а значит, и продолжения общения и образования коммуникативной системы.

В этой связи мы формулируем наш первый – социоэпистемологический – тезис. Коммуникативные стратегии, как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях не могут не перекликаться. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают понимание и, как следствие, акцептацию запросов на контакты. Как раз в этом смысле нас будет интересовать сходство в процессе понимания, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных объяснений. Мы пробуем объяснить генерацию и обоснование научного знания, имеющее своим источником свойства самого общения ученых, пусть даже свои высказывания: они, как им кажется, основываются на объективности предметных описаний и наблюдений.

Одновременно мы защищаем и второй социоэпистемологический тезис. Социальную реальность (общество, действия, коммуникации) следует понимать как «стандартный» предмет научного исследования, пусть, безусловно, и выказывающий специфичность, но, тем не менее, принципиально допускающий стандартные процедуры научных описаний, измерений, наблюдений, каузальный анализ, формализацию и теоретизацию.

В сочетании с первым тезисом, второй тезис требует представлять науку как особую наблюдающую и коммуницирующую систему, обусловленную двояким образом: (1) определяемую как свойствами самой наблюдаемой реальности, предметами научных наблюдений, так (2) и свойствами наблюдателя, т. е. свойствами научного общения, которые, в свою очередь, эксплицируются самой

наукой. В этом случае и сам этот наблюдатель и наблюдение (=общение ученых) выглядели бы столь же доступными для полноценного научного анализа, как и предметы, наблюдаемые в ходе этого общения. Причем только социоэпистемологическая фиксация такого добавочного фактора в генерации и обосновании научных идей делает возможным (хотя бы для некоторых целей анализа) выносить этот фактор за скобки и в каком-то смысле очерчивать рамки гипотетической «чистой науки», свободной от «возмущающих воздействий» наблюдателя.

Итак, мы предлагаем такое понимание научной коммуникации, в котором последняя объяснялась бы не только внутренним образом, т. е. исходя исключительно из предмета научного интереса, внешнего мира общающихся ученых, но и добавочным образом детерминировалась бы ситуацией самого общения, а именно: требованиями понимания (или понятности предлагаемых идей), условиями взаимопонимания (или консенсуса в среде ученого сообщества), которые, очевидно, выглядят дополнительными по отношению к главному условию научности: истинности, непротиворечивости теоретических суждений, наблюдаемости вытекающих из теории практических следствий. Впрочем, этот список добавочных условий научности следует дополнить и требованиями научного приоритета, научной честности (*scientific selfpolisy*), имеющих явный экстерналистский (коммуникативный) характер, не связанный очевидным образом с истинностью и новизной научных идей. Всякий раз, когда мы будем сталкиваться с такой сверхдетерминацией в генезисе научного знания, всякий раз, когда истина и новизна, как ведущие мотивации научного исследования, будут дополняться перечисленными дополнительными («экстерналистскими», социальными) каузациями, мы будем говорить о социоэпистемологии.

Об универсальном понятии понимания

Такой подход заставляет отказаться от ставшего обычным различения объяснения, имеющего дело якобы исключительно с научными законами и воспроизводимыми наблюдениями, и понимания, характерного для повседневного общения, предполагающего вчувствование или реконструкцию скрытого субъективно-

го смысла действий или их мотивов. Такое различие, конечно, можно проводить, но проистекает оно не из специализации научной коммуникации, будто бы требующей особых форм обоснования – объяснений. Объяснение является условием понимания, где бы последнее ни осуществлялось. А если такого объяснения не требуется, значит, оно принимается молчаливо и просто не требует вербализации. Так, я понимаю (=объясняю себе), почему, стоя перед дверью, человек роется в кармане. Он ищет ключ. Для понимания этого обстоятельства мне не только приходится конструировать интересубъективный смысл или мотив данного действия, общий для меня и другого в смысле А.Шюца или М.Вебера. Мне требуется полноценное рациональное объяснение, способное принимать и гемпелевские формы генерализаций и antecedентов (подробнее см. ниже).

1. Если X роется в кармане перед закрытой дверью, то он ищет ключ.

2. А роется в кармане перед закрытой дверью.

3. Заключение: А ищет ключ.

Очевидно, что понимание и в повседневности основано на объяснении. Впрочем, с другой стороны, и в отношении научных теорий, законов и наблюдений нам не избежать определенных требований к пониманию. Ведь ученые, как минимум, должны понимать обращенные к ним суждения коллег. Понимание в этом смысле непременно представляет собой некоторый промежуточный этап и итог коммуникации, зависящий от некоторого контекста: например, личностных свойств участников коммуникации, конкретной ситуации, а также известности этих обстоятельств коммуникации участникам общения. Я понимаю адресованную мне коммуникацию, если фиксирую связь (или различие) между (1) данным явно и отчетливо (и в этом смысле объективным) сообщением, в фактичности которого не приходится сомневаться, и (2) извлекаемой из него информации, которая является моим личным достижением и моей личной реконструкцией интенций, скрытых от меня в сознании моего партнера.

Итак, понимание – это сравнение фактичности и латентности на предмет их соответствия (или несоответствия). Мы говорим о понимании в тех случаях, если речь идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и кроющихся за ними мо-

тивов сообщающего, (2) о различении данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между самореференцией (тем, что в коммуникации относится к самому обсуждению) и инореференцией (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации)³. И если такое различение осознано участником, предложение коммуникации может быть не только понято, но и соответственно исходя из этого понимания принято (или не принято), что становится условием продолжения обсуждения и образования системы. Только благодаря пониманию возникает воспроизводящаяся система коммуникаций, ведь именно понимание провоцирует следующее сообщение, извлечение информации и следующее понимание. Понимание, таким образом, всегда предполагает фиксацию различения явного (сообщения) и скрытого, которое должно быть «добыто» из некоторого довольно широкого контекста (знания личности говорящего и ситуации, пространства-времени, в котором сообщение произнесено)

Правда, и объяснение апеллирует к контексту. Но этот контекст гораздо менее ситуативен, всегда абстрагирован от конкретных места и времени коммуникации, а также от свойств общающихся лиц. Объяснение – это некоторая редукция объясняемого явления к ранее известному, но главное – к воспроизводимому и повторяющемуся из раза в раз. Это известное часто (например, в схеме причинного объяснения К.Гемпеля) представляет собой некоторое условное или контрфактическое утверждение («если X, то Y»), дополненное указанием на прошлое событием A (антецедент) из множества X, которое объясняет событие B (эксплананс) из множества Y.

Объяснение, таким образом, представляет собой некоторый в большей степени объективированный итог предшествующих коммуникаций (в которых из раза в раз уже фиксировалось некоторое обобщение). Объяснение принимает форму объективного суждения, более не зависящего от структуры коммуникации, от коммуникативного контекста и знания участниками личностных свойств других участников, которые в случае понимания помогают участникам коммуникации различить и реконструировать латентные смыслы суждений, в их синтаксических фор-

мах вполне очевидных. Объяснение в большей степени ориентировано к синтаксису и форме, чем разнообразию возможных семантик и контекстов.

Но зададимся вопросом, действительно ли в отношении научных фактов и регулярностей (как это имеет место в гемпелевском объяснении) нам непременно следует дистанцироваться от характера обсуждения проблемы, от свойств самого обсуждения? Если понимание в нашем смысле (как сравнение синтаксической формы суждения и семантики) есть фундаментальное и универсальное свойство всякой коммуникации, то коммуникативный характер науки в свою очередь должен был бы выказывать эту зависимость. В науке мы тоже имеем дело с пониманием, например, когда сравниваем (логические) формы высказываний и отвечающие им множества значений или референтов⁴.

И если обнаруживается непонимание⁵, это явление можно назвать аномалией в куновском смысле слова. Аномалия не вписывается в известные, утвердившиеся регулярности. Таковым, например, является утверждение о существовании «яйценесущих млекопитающих». Ученый словно не понимает, как такое возможно, ведь это противоречит ранее утвердившимся и регулярно воспроизводимым наблюдениям, которые приняли форму эмпирического закона. Также и данные об орбите движения Меркурия вступили в противоречие с законами Ньютона и оказались непонятными ученому.

Непонимание (аномалия) может привести к разрыву общения, точно так же, как это имеет место в повседневной коммуникации. Фиксация аномалии в некоторых случаях приводит к отказу от утвердившихся регулярностей или закономерностей. Если как ученый я не понимаю, как аномалия встраивается в законы, то зачастую предметом отклонения может оказаться и сама генерализация, что предполагает разрыв коммуникационных связей с сообществом ученых, придерживающихся этих «устаревших» генерализаций или парадигмы. Этот – относительно свободный – выбор ученых между сохранением аномалии за счет отказа от признания генерализаций или сохранением генерализаций за счет нейтрализации аномалии является универсальной особенностью коммуникации и представляет собой частную форму конфликта когнитивных и нормативных ожиданий (Никлас Луман). Разочарование в ожиданиях

всегда приводит либо к утверждению новой информации за счет отказа от нормы, либо к утверждению (и даже – укреплению!) нормы за счет нейтрализации аномального. Специфичность научной коммуникации, как показала полемика К.Поппера и И.Лакатоса⁶, пожалуй, состоит лишь в том, что в науке опровержение (разочарование в норме) не всегда означает отклонения опровергаемого. Так, наблюдение того, что движение Меркурия, опровергающее и фальсифицирующее законы Ньютона, не привело к отказу от ньютоновской механики. В науке нет такой срочности в принятии решения по поводу альтернативы нормы и девиантности, как это имеет место в правовой или политической коммуникации, и именно потому, что нормативные и когнитивные ожидания в научном общении уравновешены, а разочарования в норме (генерализации) в некотором смысле институционализированы и парадоксальным образом оказываются ожидаемыми и даже желанными.

Итак, мы пришли к выводу, что понимание и непонимание имеют универсальный характер, свойственны научной коммуникации, поскольку последняя (помимо специфических) выказывает и универсальные свойства общения.

Наблюдение и объяснение в науке и повседневности: релятивизм

А как же обстоит дело с объяснением? Свойственно ли последнее исключительно научному дискурсу или может равным образом применяться к объяснению человеческого поведения и общения? И есть ли существенные различия между объяснительными процедурами в науке и объяснением в повседневной жизни? В классической форме проблема объяснения поставлена Гемпелем и Оппенгеймом. Задаться вопросом о том, почему случилось некоторое событие, равнозначно вопросу о том, в какие законы вписан этот случай и какие предшествующие обстоятельства его вызвали⁷.

Но является ли такой путь объяснения исключительным достижением научной коммуникации, или же оно является общим свойством общения людей? Как, например, объяснить и, следовательно, понять социальное действие? Применительно к социальному действию можно ли дать объяснение через генерализацию и предшествующее условие? Например, наблюдатель может объяснить действие лесоруба, вписав его в некоторую генерализацию:

если требуются дрова для строительства или отопления, лесоруб рубит дерево. Антецедент: лесоруб нуждается в дровах для отопления. Эксплананс: лесоруб рубит дерево. Это обобщение (как минимум для наблюдателя действия) выступает аналогом научного обобщения.

Гемпелевское представление о научном объяснении подразумевало однозначную связь между генерализацией и наблюдениями (антецедентом и экспланансом), которые подводилось под такое обобщение. Однако однозначность такой зависимости была поставлена под вопрос (П.Фейрабенд). В известном примере Фейерабенда (в его первой научной статье «Попытка реалистической интерпретации опыта»⁸) рассматриваются наблюдаемые цвета светящихся объектов (их объективные свойства – P1, P2, P3), которые соответствуют словам языка: красный, белый, синий. Наблюдатель может использовать эти слова независимо от того, наблюдает он эти свойства или нет. Но наблюдатель второго порядка⁹, например, ученый, наблюдающий и светящийся объект, и первого наблюдателя, способен зафиксировать зависимость изменения цвета от скорости движения источника света по отношению к наблюдателю. То есть с точки зрения наблюдателя второго порядка цвет объекта уже не является некоторым стабильным, объектным свойством, но оказывается характеристикой отношения наблюдатель/объект. О свойствах объектов самих по себе (не доступных наблюдению, вписываемого в ту или иную генерализацию) говорить, с точки зрения Фейерабенда, бессмысленно. В этом смысле язык наблюдателя, объяснение и понимание наблюдаемых свойств, определено теоретизацией второго порядка, т. е. некоторой более высокой станцией суждения, которая способна выбирать между различными теориями и соответственно различными языками.

В целом, эта идея Фейерабенда ставит под вопрос общую интуитивную предпосылку в интерпретации объяснения. А именно, то представление, что объекты с воспроизводимыми свойствами, объективные наблюдения, должны служить основанием объяснения, так сказать, общим полюсом, с которым вынуждены соглашаться все наблюдатели и который служит основой научной интерсубъективности. Теперь объектные свойства вещей нельзя рассматривать как непреложный аргумент (Витгенштейн), к которому следует апеллировать в споре. Наблюдательные высказывания те-

перь не могут зависеть от единой, выделенной, индивидуальной позиции наблюдателя, т. к. всегда может обнаружиться и другой наблюдатель, который бы фиксировал контингентность связи «наблюдатель–объект».

Но связь между генерализацией и наблюдением не так проста и в случае объяснения обычного поведения. Действительно ли теория (некоторое множество генерализаций) в этом случае однозначно определяется наблюдаемыми свойствами? В примере с лесорубом наблюдатель может интерпретировать действие лесоруба и как рубку для отопления, и как рубку ради физического упражнения. Этот анализ зависит от того, в каких системных отношениях находятся наблюдатель и исполнитель действия, связаны ли они общей деятельностью или же являются независимыми друг от друга действующими. Наблюдатель повседневности характеризует свои объекты наблюдения, исходя из собственных «теорий» (генерализованных различий), определяемый принадлежностью к некоторой социальной позиции, принадлежности к некоторой обособленной коммуникативной сфере. Так, для священника все человеческие действия подразделяются на греховные и свободные от греха. И в этом смысле он использует генерализацию, согласно которой все существа делятся на греховных и безгрешных (людей и ангелов). Врач же будет склонен подразделять все человеческие действия на полезные и вредные для здоровья. И здесь определяющей классификацией является генерализованная дистинкция болезнь/здоровье, характеризующая именно наблюдательную позицию врача. Одно и то же действие – например, принятие мясной пищи во время поста, будет рассматриваться как полезное/вредное или как греховное/негреховное. Такое представление о релятивности свойств социально-значимых объектов наблюдения можно понимать как частный случай общей установки современной философии науки в вопросе о «паразитировании» фактов над теориями (Фейерабенд).

Социоэпистемология заимствует этот общий тезис Фейерабенда. Всякое наблюдаемое явление дано с помощью посредника (дым от огня, след в пузырьковой камере). Граница между наблюдаемым и не-наблюдаемым постоянно осциллирует – в зависимости от контекста наблюдения. То, что в одном (теоретическом) контексте является наблюдаемым (например, вирус в результате

подсоединения к нему тяжелых молекул), в другом контексте может рассматриваться лишь как заместитель или представитель наблюдаемого. Для принятия решения о том, наблюдаем мы что-то действительно или нет, мы должны определиться с тем, в контекст какой дистинкции мы помещаем данное наблюдаемое явление¹⁰. Так вирус под электронным микроскопом¹¹ мы будем склонны рассматривать как сам по себе недоступный для наблюдения в сравнении с алмазом, помещенным под электронный микроскоп. Ведь мы в последнем случае видим действительную микроструктуру алмаза, тогда как то, что мы фиксируем в качестве вируса, является структурой присоединившихся тяжелых молекул, не являющихся составляющими вируса. В отличие же от наблюдений небесных объектов посредством радиотелескопа вирус под электронным микроскопом, скорее, можно рассматривать как наблюдаемый, поскольку форма присоединившихся к вирусу тяжелых молекул изоморфна форме самого вируса, тогда как данные радиотелескопа не являются такого рода аналоговым изображением.

За каждым наблюдаемым объектом стоит структура дистинкций, контраст, ранее созданные классификации. Мы не можем договориться о том, что наблюдаем одно и то же, пока не договоримся, что используем общую «оптику».

Понимание как предсказание в законах-индикаторах. Отношение закона и реальности

Гемпель признавал, что существует разновидность генерализаций, например, «законы-индикаторы» (indicator law), функция которых прямо не связана с пониманием и объяснением. Никакая подстановка наблюдений под такие законы не содействует объяснению. Гемпель приводит пример таких индикаций¹²:

все пациенты с пятнами Коплика на слизистой щек, оказываются больными корью;

у Джонса выступили пятна Коплика;

Джонс болеет корью.

Очевидно, что первое утверждение является генерализацией, в которую осуществляется подстановка утверждений-наблюдений. Но эксплананс (болезнь) очевидно не получает здесь объяснения, т. к. такое объяснение должно апеллировать к некоторому прошлому,

причинным образом объясняющее настоящее наблюдение (пятна Коплика не являются причиной кори). Напротив, antecedent (пятна Коплика) является *индикатором* и предсказанием будущей болезни. В этом случае мы *понимаем будущее*, поскольку видим его приметы в настоящем. И мы понимаем настоящее, поскольку способны установить его референцию к будущим событиям. Такая «не объясняющая», но *предсказывающая* теория не описывает *реальных* импликаций. Но ведь законы и не должны описывать реальность, а представляют ее некоторую идеальную модель.

Этот пример показывает, что соответствие абстрактных описаний реальности возможно потому, что реальность – пусть лишь в некоторых случаях – но ведет себя, точно соответствуя своему описанию. Считалось очевидным, что объяснение подразумевает реконструкцию импликаций, существующих в самой природе. Так, согласно закону идеального газа повышение температуры имеет своим следствием увеличение давления. Но чем удостоверено теоретическое описание, если оно описывает всего лишь поведение идеальной модели? Уилфред Селларс в работе «Язык теорий» утверждал, что связь между моделью и реальностью состоит в том, что модель при некоторых условиях и *является* таковой реальностью. То есть кинетическая теория объясняет, почему газ при умеренном давлении подчиняется закону $PV/T=k$. «Газ при умеренном давлении, – пишет Селларс, – действительно идентичен модели идеального газа – облаку молекул – точечных масс, на которых не сказывалось воздействие межмолекулярных сил»¹³. Повышение давления приводит к увеличению расхождения реальности и модели, но это расхождение может быть «исчислено», именно потому, что мы обладаем некоторой базовой идеально-реальной моделью.

Этот же вопрос можно поставить применительно к описанию коммуникации. Ведет ли себя общество в некоторых случаях как точно соответствующее своей идеальной модели? Насколько реальными могут быть общественные идеалы? Или непременно наличествует большее или меньшее отклонение от норм и ценностей? М.Вебер полагал, что для описания общества можно использовать так называемые «идеальные типы». Действие всегда целерационально, ценностно-рационально, эмоционально, традиционно. Мы способны понять другого в том случае, если локализуем его действие в измерении соответствующего идеального типа, которые

выступают одновременно и как генерализации поведения, и как его причины. Мы способны понять преступление, если объясняем его состоянием аффекта, а понять революционные действия мы можем, объяснив его приверженностью ценностям справедливости. Но этот же инструмент допускает и фиксацию отклонений от заданных стандартов. Так, мы фиксируем смешанные типы, где целерациональное поведение ученого, проводящего научное исследование, может отклоняться от стандартов таковой рациональности, получая аффективную мотивацию (любопытство, жажда успеха, честолюбие). То есть мы всегда констатируем приближение к некоторому идеалу поведения, который мы можем понять с нашей собственной позиции.

Но есть ли возможность зафиксировать «чистое» рациональное поведение, полностью соответствующее идеально-типической модели целерациональности и лишённое всех иных мотиваций? Или все модели объяснения поведения являются контрфактивными и в этом смысле подлинно научными?

Проблема подтверждения. О непонятности контр-интуитивных случайных обобщений

Чтобы убеждать друг друга, мы привлекаем аргументы, подтверждающие наши утверждения. В такого рода коммуникации редко используются доводы, которые одновременно подтверждают очевидные и явно абсурдные утверждения. Это сделало бы понимание невозможным. Однако с точки зрения строгой научной логики – формально-логического синтаксиса такая процедура подтверждения оказывается почти неизбежной. Именно на это свойство логического подтверждения генерализаций указал Нельсон Гудмен¹⁴. Так, наблюдение «изумруды – зеленые» подтверждает не только эмпирическое обобщение «все изумруды зеленые», но и странную генерализацию «все изумруды зелесиние», где предикат *зелесиние* обозначает свойство *быть зелеными* во время наблюдения, а в ненаблюдаемом состоянии *быть синим*. Эта возможность указывает на сомнительность до сих считавшегося самоочевидным критерия Жана Жоржа Пьера Никода¹⁵. Выяснилось, что существуют логически обоснованные подтверждения «непонятных» обобщений, «закономерность» которых противоречит нашей интуиции.

Как же отличить подлинно-научные обобщения от «акцидентальных генерализаций», вступающих в противоречие с нашей интуицией? Идея Гудмена состояла в том, что следует различать между «законоподобными» и «акцедентальными» обобщениями, которые бы учитывали *пространственно-временной контекст значений* этих обобщений. Ведь утверждение о том, что лед плавает в воде, применимо и к другому льду, и другой в воде, и в прошлом, и в будущем, и в данной точке пространства, и в соседней, и обусловлено не случайным и уникальным стечением обстоятельств, а неким глубинным основанием. То, что один кусок льда плавает, связано с тем, что плавает другой, с тем что *все они* обладают меньшей плотностью, чем вода. Суждение же *этот изумруд – зелесиний* не подтверждает утверждение о том, что и другой (в иных пространствах и временах) выказывает то же свойство.

Очевидно, что понимание свойств и событий через учет регулярностей или законов может обеспечиваться, если законы будут *подтверждены* в их универсальности. Но обычное подтверждение позитивными примерами теперь выглядело сомнительным. Однако то, что для развитых научных дисциплин выглядело достаточно скандальным, в проблематических науках, в особенности в исторических, но также и в географии, являлось вполне обычным. Это касалось различия между уникальными социальными констелляциями (историческими эпохами, своеобразными культурами) и научными формализациями, описывающими нечто инвариантно воспроизводящееся. Так, Г.Риккерт ввел термин «идеографические» описания.

«Мы исходим из того, – пишет Риккерт, – что есть граница всякого естественнонаучного образования понятий, т. е. из *индивида* в самом широком значении слова, в котором (значении слова. – А.А.) оно обозначает всякое возможную как угодно уникальную и особенную действительность»¹⁶.

И далее: «...понятия о причинах в естественнонаучных каузальных законах не только общи, но зачастую и какой-либо естественнонаучный каузальный закон сам называется причиной. Так, например, утверждается, что закон падения есть причина ускорения падающего тела. ...Итак, если естествознание может рассматривать закон падения как «причину» ускоренного движения падающего тела или даже закон тяготения как причину закона падения, так как оно всегда имеет в виду связывать друг с другом лишь общие понятия, в исторической науке всякая попытка при-

знавать при выражении какой либо однократной индивидуальной связи действующими причинами общие понятия или каузальные законы лишила бы нас возможности понять исторический процесс, так как вместо познания того, что некогда действительно было причиной, и действия, к которому мы стремимся, мы получали бы лишь общие отвлечения в понятиях и никогда не могли бы показать, благодаря чему произошли исторические события»¹⁷.

При этом оказывается, что исторические констелляции не столь уж уникальны (ведь всегда есть возможность обобщить человеческое действие, сведя их к общему мотиву – «интересу эпохи» – М.Вебер), а научные формализации не могут достоверно подтверждаться логически и вынуждены обращаться к уникальному – индивидуальной традиции («track record») использования слова или предиката, лишь некоторые из («entrenched predicates» – «зеленые», а «зелесинии») могут быть востребованы в научном предприятии.

Итак, научная формализация в некоторых случаях может быть почти лишена конкретных (содержательных) пространственно-временных референций. Псевдонаучные (случайно-истинные) генерализации чаще всего указывают на конкретные и уникальные регионы пространства и времени («Все мужчины в этой комнате – третьи сыновья»). Но, с другой стороны, и подлинные законы могут выказывать те же свойства (законы Кеплера предполагают конкретные пространственные временные референции – описывают конкретные формы движения по конкретным орбитам планет вокруг Солнца). В этом смысле и естественнонаучные теоретические описания, и описания самых разных форм повседневности и социальности могут быть обобщающими (номотетическими) и уникальными (идеографическими).

Можно заметить, что и в самом обычном общении «акцидентальные генерализации», обобщающие уникальные ситуации или констелляции событий, уместны и понятны. Именно это свойство сообществ, образующих свою уникальную историю, требует идеографических типов описания в смысле Риккерта. Всякая история уникальна, концентрирует вокруг себя специфические «интересы эпохи» и благодаря этому придают смысл (и в этом смысле «обобщают») человеческие действия. Понять человеческое действие – значит соотнести действия с такими уникальными «всеобщими

ценностями культуры» – религиозными, государственными, правовыми, научными и ценностями искусства (именно в таком порядке у Риккерта), к которым редуцируется объясняемое поведение и которые благодаря этому только и делают возможным понимание исторического процесса и саму историческую науку¹⁸.

Мы приходим к выводу, что «акцидентальные генерализации» уникального пространственно-временных констелляций имеют место и в гуманитарных науках, и в естествознании. Они не могут быть отброшены как препятствия для познания и понимания как некие «неподлинные» научные законы, но требуются для динамических, эволюционных, исторических описаний.

Как мы видели, и сам Гудмен возвращается к «историзму», когда говорит о необходимости исследовать *историю научных предикатов*, как бы доказавших свою эволюционную успешность. Парадоксальным образом именно апелляция к *прошлому*, к устоявшейся и утвердившейся семантике свойств (где свойства *зеленого* несомненно практически более успешны, чем – синтаксически и теоретически безупречного свойства *зелесинии*), в сущности, традиция как *уникальный* процесс дает основания считать некоторые свойства (названия цветов) действительно общими, научно-генерализируемыми, а значит, обеспечивающими и понимание.

Синтаксический проект, автоматизация понимания

Итак, «синтаксический проект» (учет всех синтаксически формально возможностей подтверждения) подтверждения научных законов потерпел фиаско именно потому, что оказался контринтуитивным, генерировал непонимание. Синтаксический проект состоял в попытках обосновать качественное и количественное подтверждения законов, машинизировать акцептацию законов и обобщений. Это сделало бы *понимание* событий и свойств квази-автоматическим процессом. Понимание свойства или события не требовало бы в этом случае возвращения к истории слова, эволюции его семантики, воспоминаниям о том, что оно укоренилось и утвердилось в человеческом языке, традиции и культуре, а значит – на этом основании – должно быть понятным. Критерий Никода предполагал возможность количественного индуктивного перебора наблюдений, подтверждающих обобщение. Но именно

логическая форма (синтаксис) приводила к парадоксам, где возникали предикаты типы «зелесинего», и следовательно, любое позитивное подтверждение (зеленый изумруд) «научной» теории «все изумруды зеленые» приводило к подтверждению также и «случайных генерализаций», и «псевдонаучных генерализаций». Сомнительность качественных подтверждений научных генерализаций продемонстрировал знаменитый «парадокс ворона».

Этот вопрос о возможности *естественности понимания* требует отдельного рассмотрения.

Идеалы естественного хода вещей и понимание аномалий

Вопрос понимания фундаментальным образом зависит от того, что может рассматриваться как естественно-понятное само из себя или само по себе, соответствует привычному ходу вещей и не требует объяснений. Именно на этом фоне появляются аномалии, нечто неестественное и необычное, требующим домысливания причин своего появления. Конечно, представления о «естественном порядке» постепенно менялся вместе с традицией человеческой мысли, а вместе с ними менялся запрос на понимание и объяснение. Стивен Тулмин – в продолжение идей Гудмена об истории развития и утверждении «лучших» понятий – попытался реконструировать такие «идеалы естественного порядка природы», в контексте которых можно судить о том, что требует понимания и объяснения, поскольку отличается от нормального хода вещей. Но теперь речь идет, скорее, об эволюции понятий, изменении их семантики, а не об «успешной» истории «утвердившихся» предикатов. Тулмин задается мета-вопросом о том, как меняются стандарты понимания. Теперь уже нельзя говорить о большей или меньшей успешности предиката («зеленого», имеющего долгую и успешную историю). Ведь теперь один тот же предикат в одном случае требует объяснения и понимания, т. к. выступает аномалией, а в других случаях отвечает естественному порядку природы или «натуральному ходу событий» и в этом конформном статусе не рефлексивируется¹⁹. Исследовать надо не предикаты, а метаморфозы стандартов понимания, и в этом контексте – научных теорий.

Так, первый закон Ньютона требует объяснять исключительно *изменение* инерциального движения, а не само движение. Этот идеал противоречит аристотелевскому требованию объяснять

само движение, указывая на движущую инстанцию, внешнее усилие – причину движения, осуществляемого благодаря ей вопреки внешним препятствиям. Смена аристотелевской теории движения ньютоновской и есть изменение стандартов понимания, и вместе с тем – представлений о естественном порядке вещей.

Такого рода стандарты соопределены и некоторыми традиционными представлениями о социальном устройстве, в частности, с очевидностью указывают на укорененное в повседневном сознании представление о том, что «социальное движение», «коллективная жизнь» требует некоторой организующей и направляющей силы, как и о том, что свободное движение как физических, так и человеческих тел невозможно без насилия и принуждения²⁰.

Вопросы о понимании и объяснении возникают, если обнаруживаются явления, противоречащие означенным «естественным идеалам». Как объяснить, например, что запущенное копьё продолжает движение и после того, как оно было отпущено метателем? Такое явление выглядит аномалией, и именно такие аномалии заставляют ставить вопрос и *о понимании самих стандартов понимания*.

Понять таковые метастандарты научное знание – значит попытаться представить это знание «очищенным» от контекста, доступного в «чистых», а не социализированных формах. Как же в этом смысле интерпретировать аристотелевское понимание движения? Понять аристотелевский идеал движения значит понять, чем *мотивировано* его представление о том, что именно движение требует *объяснения*, в то время как покой в рамках «естественного места» (= традиционных иерархий) является естественным состоянием или порядком природы, а любое по видимости автономное поведение или движение на самом деле предполагает скрытый источник или контролирующую инстанцию²¹. Именно здесь возможно подключение социоэпистемолога. Но он заявляет вовсе не о том, что новые формы социальности (означенная автономизация индивидов, появление феномена личной индивидуальности) генерирует (в ньютоновском идеале) представление об инертности тела, способности двигаться автономно, без приложения усилий. Напротив, тезис социоэпистемолога состоял бы в том, что научное знание должно быть представлено как автономное от социальных предпосылок. Поскольку теперь появляется возможность показать, что (было или не было такое влияние) представление о

способности тела двигаться самостоятельно следует отличать от представления об автономности личности (способности индивида принимать самостоятельные решения). Теперь эти взаимные метафоры можно анализировать и, как следствие, показать границы их взаимной аналогичности.

Ориентации Я/Другой как основание понимания и не-понимания

Две вышеозначенные конкурирующие картины естественного порядка задают различные контексты для интерпретации одного и того же события или явления. Но эти контексты не являются произвольными или контингентными. Задача социозпистемолога – поиск их глубинных оснований, которые могут состоять, например, в структуре пространственно-временной координации участников научной коммуникации, в том, что перед ними открываются противоположные наблюдательные перспективы, которые они не в состоянии согласовать друг с другом. Ведь чтобы встать на чужую наблюдательную позицию и, следовательно, понять точку зрения на мир Другого, приходится осуществлять гештальт-переключение между означенными идеалами. Встать на позицию Другого (другого *естественного идеала*) – значит признать принципиально другой новый смысл понятий.

Чтобы Ньютон смог принять новый (релятивистский) смысл понятия массы, ему бы пришлось отказаться от антропоморфного и антропо-размерного представления о пространстве, где позиция (скорость) наблюдателя однозначно определена в рамках абсолютного пространства и абсолютного времени. Ему пришлось бы дистанцироваться от естественного и понятного для него мира абсолютных и нерелятивируемых величин, которые не меняются от изменения отношений *объект-наблюдатель*. Для этого ему пришлось бы отказаться от собственной позиции в мире, где рамки человеческого понимания (с его трехмерностью и конечностью) ограничивали возможности интерпретации макро и микрофеноменов.

О такого рода *гештальт-переключении* наблюдательных перспектив (вслед за А.Куном) пишет Хансон. «Вообразите Кеплера, стоящего на холме и наблюдающего закат. С ним Тихо Браге. Кеплер видит солнце застывшим: а то, что движется, – это земля. Но

Тихо, следуя Аристотелю и Птолемею, видит неподвижной землю, а все остальные тела движущимися вокруг нее. Видят ли Тихо и Кеплер одну и ту же вещь на закате?»²².

Эта ситуация описывает развитие научного знания, но характеризует сами основания человеческого восприятия. Так, начинающий пилот во время первого полета видит Землю вращающейся вокруг него, т. е. воспринимает себя в качестве центра (оси координат). А опытный – воспринимает Землю в качестве неподвижной, а себя и самолет – как совершающий вращательное движение. Речь идет о глубинных ориентации восприятия *Я/Другое*, проявляющаяся в самых обычных повседневных ситуациях.

Например, конкретные смыслы многих слов, самих по себе сохраняющих идентичность написания и произнесения (так называемых индексных выражений – *здесь, сейчас, затем, сзади, спереди, личные местоимения, понятно, естественно, прекрасно*) меняются в зависимости от выбора в рамках выше означенного метаразличения – между тем, принимать ли себя в качестве неподвижного центра или считать таковым окружающий мир. Все эти выражения получают свой смысл только исходя из базового различия между тем, кто высказывается и считает ли он себя основным ориентиром или центром, или же таковым выступает внешний мир²³. Научные теоретизации и контroversы могут возникать из повседневных, но фундаментальных коммуникативных трудностей и ориентаций. К индексным выражениям безусловно относятся и научные понятия, меняющие смысл в зависимости от того, в рамках каких стандартов понимания или «естественных порядков» они употребляются. И не следует забывать, что даже научные индексные понятия выполняют не только дескриптивную, но и коммуникативную функцию²⁴.

Тот же самый вопрос о различающихся перспективах наблюдения (как условиях взаимного непонимания) может быть поставлен и применительно к отношению между практикующими учеными и философами науки. В чем же принципиальная разность и схожесть их положения? Ученый создает идеальную модель, которую и описывают законы. Но ведь и философ науку примерно делает со своим предметом, наукой, то же самое, а именно – создает ее идеальную модель, исходя из своей позиции наблюдателя науки. Именно из его (столь же научной) перспективы открываются раз-

ного рода counterfactuals, «зелесиние» свойства предметов, т. е. логические возможности подтверждения абсурдного, возможности практиковать орнитологию за письменным столом, как это вытекает из *парадокса ворона*. И это совсем не то, что «открывается» наблюдению практикующего ученого, неспособного одновременно со своим предметом наблюдать и средства и условия собственного наблюдения. Философия науки создает идеальную модель наблюдаемого объекта и в этом смысле (как настоящий ученый наблюдатель) должна сама принимать решения, какие параметры или части науки (познания) включать в модель, а какие игнорировать как несущественные или неинтересные. Понимание философом науки и понимание ученым своего объекта различны, поскольку идеальные модели науки безусловно отличны от непосредственно осуществляющейся науки. Именно такой ответ можно дать на упрек Фейерабенда к традиционной философии науки и попыткам ее редукции к истории знания.

Фейерабенд советует ученому не следовать никаким советам философа науки! (И *этому совету* должен следовать каждый ученый.) Но как же философия науки (низведенная Фейерабендом до уровня истории науки²⁵) должна конструировать собственную область, выбирать существенные (внутринаучные) и отклонять с ее точки зрения несущественные для истории науки события, не используя средства для такого отбора, избирательные схемы, методологию *свое/чужое*? И если философ науки выступает в роле историка, то кому как ни ему принимать решения, по каким разделам, эпохам, дисциплинам, теориям и парадигмам, упорядочивать и классифицировать материал. Сама история науки как фактический процесс вряд ли может помочь в силу ее неохватной комплексности. В любом случае историку науки придется создавать модель истории науки, а следовательно, руководствоваться методологией и метатребованиями, заставляющими очень избирательно относиться к материалу.

Итак, глобальные различия наблюдательных перспектив (например, эпистемолога и практикующего ученого), представителей разных парадигм *Эго-центрированного* наблюдения Тихо Браге и *Альтер-центрированного* наблюдения Иоганна Кеплера обуславливают взаимное непонимание. Они не могут прийти к взаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измере-

ниях, признают «естественными» разные порядки, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – эта обычная трудность, вызванная приверженностью к различным полюсам базовой коммуникативной дистинкции (различением *я/другое*, а в конечном счете – различением людей и вещей).

Но насколько непреодолимыми являются такого рода разрывы? Новые возможности поиска понимания были обнаружены на уровне теорий среднего уровня, или на уровне конкретных законов. Ведь именно такие конкретные законы обладают большей «продолжительностью жизни», не меняются, несмотря на то, что теряют популярность и сторонников «всеохватывающиеся теории» и парадигмы.

Вместо заключения: о предметных и коммуникативных полюсах понимания

Мы вернулись к ранее заявленному тезису. Понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечивается через апелляцию к свойствам объектов, которые как бы принуждают к взаимному согласию по их поводу. С другой стороны, наука остается коммуникативной системой и всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций исследователей, как реализация их честолюбивых замыслов и стремления к научному успеху, – т. е. самореференциально (иметь своим предметом саму коммуникацию, а не ее внешний мир). Всякое научное предложение можешь замышляться, интерпретироваться и пониматься лишь как провоцирующее дискуссии, как вполне сознательное заострение проблемы, как осознанная идеализация реальности и существенное отвлечение от ее фактических свойств.

Причем именно научные *теории* делают возможным существенно абстрагироваться от предметного полюса в понимании научных предложений. Такой предметный полюс понимания (и как следствие – сам фундамент научного познания) не может образоваться и – всегда теоретически нагруженными – фактически наблюдениями. Ведь с равной степенью убедительности мож-

но обосновывать как базовый характер предложений наблюдения (Р.Карнап и Венский кружок), так и базовый характер теорий и их комплексов (П.Дюгем, У.Куайн, П.Фейерабенд).

Так, как в рамках социальных наук (Р.Мертон и «теории среднего уровня»²⁶), так и в естествознании (Г.Фейгль) было предложено рассматривать в качестве фундамента познания и (основания понимания реальности) эмпирические законы, выступающими базовыми единицами, атомами или неразложимыми частицами знания, обеспечивающими понимание и консенсус среди ученых, независимо от того, принимают ли они «охватывающие» теории.

Можно относительно свободно выбирать импонирующую теорию (волновую или корпускулярную в физике, функционалистскую теорию или утилитаристскую теорию в теоретической социологии) и подверстывать под нее подходящие наблюдения. Напротив, эмпирический закон обладает большей принудительной силой.

В обычной коммуникации понимание в значительной степени не основано на *переносе* – всегда гипотетических – единиц информации, поскольку участник коммуникации волен выбирать свою интерпретацию сообщения, считать ли информацией событие во внешнем мире или рассматривать в качестве такой информации мотивацию, интенцию высказывающего. Всегда сохраняется возможность проинтерпретировать предложение «идет дождь» как попытку мотивировать собеседника остаться дома. В научной коммуникации роль предметно-ориентированных предложений значительно важнее. Возможно, в науке на уровне теорий среднего уровня и эмпирических законов мы действительно обнаруживаем базовые единицы знания, которые принудительным образом заставляют участников полемики признавать правоту оппонентов, указывающих на ту или иную эмпирическую регулярность.

«Должно быть ясно, – пишет Г.Фейгль, – что эмпирический “нижний уровень” законов редко подвергается сомнениям (*hardly ever questioned*). Я признаю, что в принципе допустимо, что астрофизические теории однажды предложат ревизию оптики, но я не впечатлен такими чисто спекулятивными возможностями, которые неумоимо изобретаются оппонентами эмпиризма с помощью шокирующее-абстрактной супер-софистичности. ...Тысячи физических и химических (низко-уровневых) констант фигурируют в поразительно устойчивых эмпирических законах. Рефракция проявляется в бесчисленном числе прозрачных субстанций (разных типах стекла, кварца, воды, спирта), удельные веса, удельные темпера-

туры, удельные теплоемкости, теплопроводимости, электроемкости и электропроводимости десятков тысяч субстанций, закономерности химических составов, законы обратных квадратов в распространении звука и света, подобно закону Кулона в отношении магнитных и электрических взаимодействий... даже ньютоновские законы обратных квадратов для гравитационных сил, законы Ома, Ампера, ...Фарадея и так далее, все продолжают использоваться и необходимы для проверки теорий более высокого уровня»²⁷.

Этим Фейгль ответил и на аргумент Фейерабенда о том, что синтаксическая форма указанных законов и терминов входящих в эмпирические законы может оставаться неизменной, но их смысл меняется-де в зависимости от вхождения в те или иные «высокие теории». Так, масса в ньютоновских законах не меняется от скорости, что отличает смысл этого понятия от ее релятивистской интерпретации. Фейгль в ответ указал на то, что наблюдаемые факты зависят от теорий с точки зрения этих теорий, но в самой *практике ученых* именно теории оцениваются на предмет их соответствия эмпирическим обобщениями. В этом смысле релятивистская механика подтверждается практически лучше, чем ньютоновская механика. Апеллируя к Фейглю, мы можем заключить, что если в самом *предметном мире* обнаруживаются веские основания (эмпирические обобщения), принуждающее к взаимопониманию, то в этом смысле наука действительно существенно отличается от всех других типов общения.

Именно этот аргумент развивает И.Шеффлер в своей концепции «референциальной эквивалентности»²⁸. Исходная ситуация кажется простой и даже тривиальной. Но ведь у любого суждения по поводу предмета есть два значения или смысла. Один – референциальный или объединяющий сообщество ученых, принуждающих их соглашаться друг с другом (можно назвать его значением понятий или теорий) и другой (собственно смысл) способный вносить непонимание в научную коммуникацию. Так, мы можем судить о планете Венера как о планете Венера, равной себе и сохраняющей собственную идентичность и утром, и вечером. Но мы можем судить о планете Венера как данной одному наблюдателю утром, а другому наблюдателю – вечером. *Именно смыслы* суждений разъединяют коммуницирующих наблюдателей. Утренняя звезда и Вечерняя звезда оказываются двумя «способами данно-

сти» (Gegebensein von Begriff – в смысле Г.Фреге), если принять во внимание позиции наблюдателей и прийти к пониманию на основе смысла («данности объекта наблюдателю») невозможно.

Шеффлер рассматривает и менее тривиальный гипотетический случай. Допустим, Ньютон и Эйнштейн обсуждают ускорение электрона в синхротроне. Их суждения в отношении электрона являются референциально-эквивалентными (ведь они имеют перед собой некоторый общий предмет суждения – электрон). Однако это понятие оказывается концептуально расщепленным, т. к. в разных случаях проявляет различную семантику. Возникает вопрос, можем ли найти основания, которые убедят нас в адекватности того или другого смысла и тем самым можем согласовать наши различающиеся наблюдательные перспективы? Согласно Шеффлеру, мы действительно можем говорить об «удобстве» той или иной семантики в конкретной ситуации. И в этом смысле является неадекватным использование гештальт-анalogии, согласно которой Тихо Браге якобы видит нечто отличное от того, что видит Кеплер (см. выше). Разные классификации, по мнению Шеффлера, еще не свидетельствуют о различности самих классифицируемых объектов и свойств. Различаясь, они все еще могут оставаться «референциально-эквивалентными».

Для одних исследовательских целей было бы достаточно одного (скажем, ньютоновского) понятия массы, и в этом случае ее более точное измерение (в соответствии с релятивистским пониманием) было бы избыточным, и в этом смысле бессмысленным расходом измерительных мощностей. Для других целей, нужно более точное ее измерение. Следовательно, можно подобрать критерии адекватности для выбора того или иного смысла синтаксически-тождественного и референциально-эквивалентного научного понятия.

Итак, взаимопонимание и согласие (понимание как консенсус) возможно не только по поводу объекта (референта), но и по поводу выбора его смыслов, его семантики. И именно смысл (концепт) для референта определяет выбор подходящей теории, обеспечивающий больший предсказательный успех. Концептуальная различность тем не менее характеризуют не разные предметы, но все-таки относится к одному референту, и именно поэтому может быть сравнена! И именно поэтому мы можем говорить о *понима-*

нии одного и того же предмета или референциально-эквивалентного понятия, что вместе принуждает нас к согласию по его поводу. Если бы мы говорили о разных референтах и разных понятиях, то взаимопонимание было бы невозможным.

Таким образом, идея «референциальной эквивалентности» спасает идею рациональности науки и научного прогресса. Один и тот же объект в разных обстоятельствах может концептуализироваться соответственно им *более или менее* четко. Соответственно, предсказательный успех поведения объекта в его различающихся концептуализациях и приближение к нему может быть большим или меньшим. В любом случае обнаруживается объектно и объективно заданная мера, или предметно определенный эталон, который Шеффлер называет «yardstick of descriptive adequacy». Поэтому концепты, т. е. когнитивные достижения ученых, все-таки могут получать объективную оценку, несмотря на то, что являются делом выбора, т. е. результатом собственной активности ученых, их относительно свободного конструирования. В этом смысле мы понимаем друг друга, если учитываем, в каких случаях и почему ученый предпринимает (выбирает) соответствующие концептуализации. Для расчета траектории ракеты – понятным образом – ученый выбирает птолемеевскую (геоцентрическую) концепцию, а для расчета орбит и периодов движения планет – столь же понятным образом – геоцентрическую.

Примечания

- ¹ Конечно, в качестве такого исследования можно рассмотреть гуссерлевский проект феноменологической редукции явлений к структуре чистого сознания, где под последней могли пониматься и научные идеализации, от которых, по мнению философа, неплохо бы вернуться назад «к вещам» и «жизненному миру». Но речь у Гуссерля идет о структуре (потока) сознания (и даже, скорее, восприятия как условия для формулирования научных понятий), а вовсе не *общения*, как это имеет место в данной статье). «Мир, как он “реально существует” на деле, есть продукт конструктивного теоретизирования, исходным материалом которого являются объекты и смысловые связи повседневного опыта – жизненный мир. В то же время в ходе развития современной науки и ее философско-методологического осмысления значение жизненного мира как предпосылки и основания науки было забыто и мистифицировано» (Филатов В.П. Естествознание и «жизненный мир»: проблемы феноменологической интерпретации точных наук // Вопр. философии. 1979. № 4). Этот тезис Гуссерля странным образом и тривиален, и ложен.

- 2 Уже языковая интуиция указывает на тождество омонимов «предложения» как высказывания и «предложения» как предложения к совместному решению.
- 3 В простейшей форме: понять высказывание «идет дождь» значит подобрать к этому сообщению соответствующую информацию, т. е. решить, какой смысл в большей степени ему соответствует – утверждение о погоде (о внешней для коммуникации реальности – инореференция) или мотивирование собеседника остаться дома (вывод о характере самого обсуждения – самореференция).
- 4 Понять утверждение (1) «все вороны – черные», значит, во-первых, разобраться с тем, как обстоит дело с *формой суждения* (т. е. с самим сообщением). Так, на этой стадии выясняется, что синтаксически первая форма эквивалентна двум другим: (2) «если не черный, значит не ворон», (3) «или ворон, или не черный»). Выбор нужного варианта синтаксиса делает возможным обращение к соответствующему множеству референтов: или (1) черных воронов, или (2) белых перчаток, (3) черных ботинок. Так, мы можем перебирать черных воронов в поисках нечерных экземпляров (первая форма) или перебирать нечерные предметы в поисках белых воронов (вторая форма). Мы понимаем, пока имеем возможность соотносить форму и ее значения, пока не встретим несоответствий, противоречий или аномалии – белого ворона.
- 5 Непонимание всегда выступает в двух смыслах: как неспособность соотнести суждение (понятие) и его смысл (когда мы не понимаем, почему мы не понимаем) и как фиксация некоторой аномалии, т. е. случая, противоположного утвердившейся в научном обиходе генерализации (белый ворон).
- 6 *Лакатос И.* Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 221.
- 7 Почему погруженное весло выглядит согнутым? Во-первых, мы подбираем релевантные законы (закон рефракции, а также общее утверждение, что вода плотнее воздуха). Во-вторых, мы фиксируем предшествующие обстоятельства: что весло на самом деле является прямым и что погружено в воду под определенным углом. Отметим несоизмеримость этих двух условий. Ведь одно из них указывает на конкретную временную каузальность *здесь и сейчас*, а другое – на идеальную, контрафактическую, абстрактную модель, которую и описывает – вечный! – закон.
- 8 *Paul K. Feyerabend.* An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 58. (1957–1958). P. 143–170.
- 9 Здесь мы модернизируем концепт наблюдения Фейерабенда.
- 10 Питер Ахинштейн называет это «контрастом» см. следующую сноску.
- 11 Пример предложен Питером Ахинштейном: *Achinstein P.* Concepts of Science. Baltimore, 1968. P. 160–172.
- 12 *Hempel C.G.* Aspects of Scientific Explanation // *Hempel C.G.* Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. N.Y., 1965. P. 375.
- 13 *Sellars W.* The Language of Theories. *Readings in the Philosophy of Science*, 1989. P.
- 14 *Гудмен Н.* Новая загадка индукции // *Гудмен Н.* Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. Ст. / Пер. с англ. А.Л.Никифоровой и др. С. 73–74.
- 15 Критерий Никода состоит в том, что подтверждение генерализации должно осуществляться подстановкой только позитивных суждений, т. е. суждений о тех объектах, о которых идет речь в генерализациях, а не других. Генерализа-

- ция *все вороны черные* подтверждается наблюдениями воронов, а не наблюдения других предметов. См.: Ellery Eells. Confirmation Theory. Nonprobabilistic approaches // Sahotra Sarkar, Jessica Pfeifer. *The Philosophy of Science. An encyclopedia*. Taylor & Francis, 2006. P. 146.
- 16 Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 303.
- 17 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1997. С. 331.
- 18 У Риккерта такими медиа-обобщениями выступают «всеобщие культурные ценности» (allgemeine Kulturwerte). «Kulturwerthe allein machen die Geschichte als Wissenschaft möglich» (Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 580).
- 19 «Наши идеалы естественного порядка маркируют для нас те процессы в мире вокруг нас, которые требуют объяснения, противопоставляя их “естественному ходу событий”... Наше определение естественного хода событий тем самым дано в негативных терминах: позитивные усложнения производят позитивные эффекты, и скорее призваны объяснять отклонение от природного идеала, нежели конформное следование ему» (Toulmin S. *Foresight and Understanding*. L., 1961. P. 79).
- 20 Социальная эпистемология вскрывает социальный характер этого типа знания, и этим как бы пурифицирует науку. Речь вовсе не идет об утверждении тезиса сквозной социальности научного знания и в этом смысле об утрате его объективности. Социоэпистемологический тезис, напротив, создает предпосылки для аккумуляции знания, свободного от социальных и культурных предпосылок. Ведь теперь мы знаем, что понятие *усилие*, как условия движения, не свободно от социоморфных коннотаций и в этом смысле может быть изъято из «более узкого» научного словаря. Но очевидно, что для этого изъятия требуется собственный социоэпистемологический корпус нового метазнания, а именно знания о том, что знание не полностью свободно от социальных предпосылок. Это выводит дискуссию за Сциллу и Харибду экстернализма и интернализма. Знание может быть свободным от социальных условий, если в нем зафиксированы и в перспективе устранены некоторые внешние детерминации.
- 21 Самостоятельность летящего копия объяснялось Аристотелем наличием воздушных завихрений, подталкивающих его сзади.
- 22 Hanson N.R. On observation. In: *Philosophy of Science: An Historical Anthology*. Blackwell, 2009. P. 4.
- 23 В требовании «остановитесь *перед* этим автомобилем!» предлог *перед* может означать место и впереди, и позади автомобиля в зависимости от того, что считать ориентиром или центром отчета само высказывающееся лицо или автомобиль.
- 24 «Индексные выражения служат предпосылкой социальному сближению и доверительности. Типичные индексные или контекстуальные понятия – это, например, имена, специфические обозначения и профессиональные выражения,

- но также это все те понятия, которые использует рассказчик для указания на нечто иное. ...Они основаны на допущении, что все участвующие разделяют совместное знание. Индексные выражения впитывают другое и изменяют его в согласии с контекстом, который определил рассказчик. По существу, речь идет о том, чтобы посредством смысла, который конституировала одна сторона, нацелить людей на общее согласие» (*Хайнц А.* Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журн. социологии и соц. антропологии. 1998. Т. 1. № 1. С. 98–124.
- ²⁵ «Не существует, – пишет Фейерабенд, – идеи, сколь бы устаревшей и абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше познание. Вся история мышления конденсируется в науку и используется для улучшения каждой отдельной теории... Вся история некоторой области науки используется для улучшения ее наиболее современного и наиболее «прогрессивного» состояния. Исчезают границы между историей науки, ее философией и самой наукой, а также между наукой и не-наукой» (*Фейерабенд П.* Против метода. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избр. тр. по методологии науки. М., 1986. С. 125–467.
- ²⁶ Парадным примером таких теорий среднего и нижнего уровня служит «теория девиантного поведения», «теория референтных групп» (*Мертон Р.* Продолжение анализа теории референтных групп и социальной структуры // Референтная группа и социальная структура / Под ред. С.А.Белановского. М., 1991. С. 106–256.
- ²⁷ *Herbert Feigl.* ‘Empiricism at Bay?’ // Cohen and Wartofsky (eds.). Boston Studies in the Philosophy of Science. xiv. P. 48.
- ²⁸ *Scheffler I.* Science and Subjectivity. Indianapolis, 1967.

Т.Д. Соколова

Эпистемические нормы и проблема понимания*

Tatiana Sokolova. Epistemic norms and the problem of understanding

В настоящей статье проблема понимания рассматривается в качестве одного из аспектов проблемы эпистемической нормативности, а именно существования определенных норм, на основании которых осуществляется как непосредственно познавательный процесс, так и его оценка с точки зрения таких критериев, как верно/неверно, рационально/нерационально. В центре внимания находятся концепция эпистемических норм, предложенная Дж. Поллоком, а также концепция понимания Дж.Кванвига.

Ключевые слова: эпистемическая нормативность, понимание, Поллок, Кванвиг

In this paper, we consider the problem of understanding as an aspect of the problem of epistemic normativity, namely the existence of certain norms under which persons carry out both cognitive processes and its evaluation in such terms as true / false, rational / irrational. The central focus is the concept of epistemic norms proposed by J. Pollock, as well as the theory of understanding by J. Kvanvig.

Keywords: epistemic normativity, understanding, Pollock, Kvanvig

Рациональное рассуждение, как правило, рассматривается в качестве нормативного предприятия в том смысле, что оно управляется нормами определенного типа, а именно эпистемическими нормами. Данные нормы задают допустимые пределы корректного рассуждения, позволяют отделить рациональное верование от

* Подготовлено при поддержке РНФ, проект №14-18-02227 «Социальная философия науки. Российская перспектива».

иррационального, выявить рамки возможной научной дискуссии в той или иной области и т. д.¹ Таким образом, эпистемические нормы (в случае их существования) являются, наравне со знанием и обоснованием, важным элементом познавательного процесса. Тем не менее вопрос о природе и характеристиках данных норм представляет собой нетривиальную философскую проблему. Проблемы, возникающие при попытке дать исчерпывающее определение эпистемической нормативности, заставляют ряд исследователей либо вовсе отказаться от использования данного понятия либо придерживаться более слабых определений нормативности². Решения данной проблемы предлагались представителями как рационалистических, так и натуралистических эпистемологических течений. В качестве основной предпосылки рассуждения здесь выступает тезис, что вне зависимости от области исследования любой познающий субъект заинтересован в том, чтобы его рассуждение было корректным (т. е., по сути, рациональным), что подразумевает, в той или иной форме, нормативный характер познавательного процесса.

На наш взгляд, отказ от концепции эпистемической нормативности, вызванный сложностью четкого определения того, что представляют собой эпистемические нормы, является преждевременным, т. к. среди существующих концепций эпистемической нормативности можно выделить несколько последовательных и непротиворечивых теорий, которые если и не дают исчерпывающего определения эпистемических норм, по меньшей мере демонстрируют принцип их действия. Примером такого рода теории может служить концепция эпистемической нормативности, предложенная Джоном Поллоком³.

В качестве отдельного аспекта проблемы эпистемической нормативности можно выделить вопрос ее взаимодействия с процессом понимания. Понимание, наравне со знанием и обоснованием верования, можно рассматривать как отдельный познавательный процесс, обладающий своими специфическими характеристиками⁴. Отличительной чертой понимания здесь выступает то, что необходимым условием для его осуществления является не только знание о непосредственном предмете, но и возможность включить это знание в более широкий контекст иных известных фактов. Бла-

годаря этой особенности, в случае с пониманием (в отличие от знания) мы можем говорить о степенях и градациях, расширять или улучшать понимание отдельного факта или объекта.

Ниже мы рассмотрим одну из наиболее последовательных концепций эпистемической нормативности Джона Поллока, а также ее следствия для теории понимания, предложенной Джонатаном Кванвигом.

Определения эпистемической нормативности

Дискуссии в отношении определения эпистемической нормативности проходят как в рамках рационалистически ориентированных эпистемологических течений, так и в рамках натуралистических эпистемологий. Если для первых характерной чертой является постулирование априорных (т. е. независимых от опыта, необходимых и универсальных) эпистемических норм, то для вторых – выявление гипотетических норм, которые могут быть основаны на психологических особенностях познающего субъекта, представлять собой набор конвенций, допустимых при данных обстоятельствах, либо выводиться из самой практики рассуждения.

Так или иначе, все концепции эпистемической нормативности затрагивают следующий ряд вопросов:

(1) *К чему относится нормативность?* Данный вопрос представляет собой один из самых сложных в рамках дискуссии об эпистемических нормах. Является ли нормативность свойством ментальных состояний познающего субъекта, выражающемся в их согласованности друг с другом? Или она относится к значению понятий и является внешней по отношению к познающему субъекту?

(2) *Существует ли отличие между эпистемическими нормами и другими типами норм (например, этическими), и если существует, то в чем оно выражается?* Проблема выявления специфики эпистемических норм, регулирующих познавательный процесс, от других типов норм представляет собой важный предмет дискуссий. Если этические нормы регулируют наше поведение, т. е. действия предполагают их оценку с точки зрения таких категорий как хорошо/плохо, разрешено/запрещено, то применимы ли такого рода критерии к познанию и рассуждению?

«Наиболее проблематично приписывание нормативности к другому типу понятий: семантическим отношениям, таким как смысл и референция, логическим отношениям, таким как импликация и следование, к познавательным актам, таким как утверждение, предположение, выдвижение гипотезы или воздержание от суждения и т. д.»⁵

Камнем преткновения во втором случае становится вопрос о том, является ли рассуждение действием. Конечно, сложно отрицать некоторую общность между этическими и эпистемическими нормами, хотя бы в том смысле, что все они, так или иначе, выполняют регулирующую функцию. Однако если в рамках этической нормативности оценка действий основывается на таких категориях, как хорошо/плохо, то в рамках познавательного процесса и рассуждения используются уже иные критерии (разрешено/запрещено, корректно/некорректно, рационально/нерационально) и т. д., из чего можно сделать вывод, что эпистемическая нормативность представляет собой особый вид нормативности и не может быть сведена к этике.

(3) *Возможно ли эксплицитно выразить (составить более или менее полный список или перечень) эпистемических норм?* В качестве примеров эпистемических норм часто приводятся базовые логические законы. Например, что для субъекта невозможно верить, что одновременно p и не- p , или необходимо верить, что q , при условии, что оно следует из p и p имеет место. Такого рода примеры могут дополняться и эмпирическими рассуждениями, основанными на наблюдении, в частности: мое верование, что лист бумаги передо мной белого цвета, основан на том, что я вижу данный лист бумаги, у меня нет нарушений зрения, освещение в комнате достаточное, чтобы судить о цвете данного листа бумаги и т. д. Однако если эпистемическая норма относится к содержанию верования (как во втором случае), а не только к его форме, то такого рода список примеров можно продолжать до бесконечности, более того, он был бы подвержен постоянной корректировке.

Концепция эпистемических норм, предложенная Дж. Поллоком в статье с одноименным названием, затрагивает все указанные вопросы, а также представляет собой попытку дать определение эпистемической нормативности на натуралистических основаниях. Сильной стороной натуралистической концепции эпистемических норм является тот факт, что она избегает затруднений, связан-

ных с круговым определением нормы, а также уходом в дурную бесконечность, вызванным необходимостью обосновывать один набор норм за счет другого набора и т. д.⁶

Поллок, хотя и с некоторыми оговорками, предлагает рассматривать процесс рассуждения как определенного рода действие:

«Рассуждение не является, строго говоря, действием, но это нечто, что мы делаем, и мы делаем это посредством других, более простых действий»⁷.

Рассуждение представляет собой действие, т. к. состоит из, либо опирается на такие действия, как наблюдение (равно как и другие виды чувственного восприятия), дедуктивный или индуктивный вывод и т. д. При этом рассуждение обладает еще одной важной характеристикой, а именно, рассуждению (и как частный случай рациональному рассуждению) можно научиться. То есть нормативность является не свойством понятий или значений терминов, а свойством ментальных состояний познающего субъекта, выражающимся в их согласованности между собой для данного субъекта, даже в том случае, если сам субъект не может эксплицитно выразить данную согласованность. Описывая процесс рассуждения, Поллок использует метафору езды на велосипеде: это определенное умение, состоящее из сложно поддающегося подсчету и выражению набора действий, которые, тем не менее подчиняются определенному набору правил, или норм⁸:

«Рассуждение скорее походит на езду на велосипеде, чем на службу в военно-морском флоте»⁹.

В отличие от военной службы, где принятие решений основывается на четко прописанных инструкциях, как в случае езды на велосипеде, так и в случае рассуждения, невозможно обратиться к конкретному перечню норм или правил, обращение к которому гарантирует успешный результат действия (в данном случае, корректное рассуждение, знание и т. д.). Более того, данный перечень невозможно составить в силу постоянной корректировки эпистемических норм непосредственно в процессе рассуждения. Например, в сумерках восприятие цветов искажается, и зная об этом, мы можем воздержаться от суждения о цвете какого-либо объекта, в то время как при нормальном освещении данное суждение не вызвало бы никаких затруднений.

Из данного обстоятельства Поллок делает вывод, что эпистемические нормы в принципе не нуждаются в эксплицитной формулировке, т. к., с одной стороны, этого не требует их применение на

практике, а с другой – это привело бы составлению бесконечного и постоянно корректируемого списка различных по своему содержанию норм. Таким образом,

*«нормы могут управлять вашим поведением без вашего ведома об этом»*¹⁰ и далее: «это интернализированные нормы, которые мы автоматически используем в процессе рассуждения»¹¹.

Таким образом, рассуждение, согласно Поллоку, строится на основании индивидуально усвоенных норм, которые сопровождают любой процесс рассуждения, т. е. представляют его непосредственную основу и условия возможности у отдельно взятого мыслящего субъекта. Однако такого рода определение эпистемических норм ведет к парадоксу, на который обращает внимание сам Поллок:

«какими бы ни были наши эпистемические нормы – это правильные эпистемические нормы»¹².

На первый взгляд такого рода вывод представляется контринтуитивным. В данном случае становится теоретически невозможным «нормативный конфликт», или столкновение различных эпистемических норм, что, казалось бы, является неизбежным, когда речь идет не только об исследовании или научном поиске, но и об обыденном повседневном рассуждении. Кроме того, проponentы теории эпистемической нормативности в большинстве своем руководствуются целью именно выявления и определения «правильных» норм, гарантирующих получение знания и корректного, рационального рассуждения:

«мы основываемся на некотором наборе эпистемических правил, которые в некотором общем смысле указывают нам на то, во что рациональнее всего верить в различных эпистемических обстоятельствах. Мы размышляем о том, во что верить; и мы делаем это, полагаясь на некий набор правил»¹³.

Таким образом, помимо «внутренней» цели, то есть обоснования процесса рассуждения, эпистемические нормы имеют и «внешнюю» цель: получение знания, направление рассуждения так, чтобы оно приводило к истине, а не закрепляло набор заблуждений¹⁴. И если концепция эпистемических норм Поллока справляется с первой задачей (согласование ментальных состояний рассуждающего субъекта), то для решения второй задачи требуется введение дополнительных средств. В отличие от непосредственного функционирования эпистемических норм, изучение которого отводится психологии, для внешней оценки правильности или

допустимости рассуждения Поллок предлагает обратиться уже к эпистемологии, а точнее к анализу понятий, в рамках которого за ними закрепляются конкретные значения¹⁵. При этом, несмотря на натуралистическую направленность своей концепции эпистемической нормативности, Поллок не отрицает наличия априорных эпистемических норм:

«У нас нет хороших теорий априорного знания за исключением того факта, что у нас не вызывает трудности отделение обоснованных верований от необоснованных, когда мы занимаемся математикой или логикой»¹⁶.

Специфика понимания

В отличие от эпистемической нормы, термин «понимание» является одним из повседневных понятий естественного языка и часто употребляется в повседневной речи, причем зачастую в него вкладывается более широкий спектр коннотаций, чем в термин «знание» или «обоснование». В связи с этим возникает вопрос: является ли понимание специфической и несводимой к другим чертой познавательного процесса? И если да, то в чем заключается его отличие от других компонентов данного процесса?

В рамках концепции понимания, предложенной Кванвигом, на первый вопрос дается положительный ответ. Понимание – это особый и отличный от других компонент познавательного процесса¹⁷. Оно не может быть сведено только к знанию, т. к. выражения «я понимаю» и «я знаю» могут относиться к одному и тому же факту или событию, но при этом постулировать некое различие между двумя ментальными состояниями¹⁸.

Специфика понимания, в отличие от знания и обоснования верования, выражается в том, что для понимания некоего события или факта требуется его включение в более широкий контекст знаний об иных событиях и фактах, т. е. установление связей (причинно-следственных или иных) между ними. Именно наличие более широкого контекста связей делает возможным градацию степеней понимания, которая отсутствует в случае со знанием. Например, я могу знать, что сегодня почта закрыта. Но я понимаю, что почта закрыта, потому что сегодня государственный праздник, по государ-

ственным праздникам ряд государственных учреждений не работает, почта (в отличие от отделения полиции) относится к данному перечню государственных учреждений и т. д.

Что все это значит?

В качестве примера конфликта норм в связи с проблемой понимания можно привести известную шутку, которая формулируется следующим образом: «Сколько будет два плюс два умножить на два?» Данный вопрос не подразумевает использование никаких математических операторов (скобок), кроме знаков сложения, умножения и равенства, поэтому записать его можно следующим образом:

$$2 + 2 * 2 = ?$$

Согласно математическим правилам, первым действием в данном случае является умножение, поэтому при такого рода записи правильным ответом является 6. Тем не менее порядок операций, фиксируемый в устном вопросе, при подсчете, например, на калькуляторе, даст ответ 8. Данный ответ математически неверен, что и представляет собой предмет шутки.

Однако несложно привести пример, в котором рассуждение, игнорирующее математические правила, будет корректным. Допустим, что заведующему хозяйственной частью института поступила просьба о выдаче двух ручек и двух карандашей для двух сотрудников. Итоговое число предметов, подлежащих выдаче, в данном случае будет равняться восьми, а не шести. Таким образом, данное рассуждение будет корректным с практической точки зрения, несмотря на нарушение математических норм.

В первом варианте ответа мы имеем дело с математическими (априорными) нормами, во втором – с нормами практическими. Взятые по отдельности данные рассуждения являются корректными, несмотря на то, что приводят к различным результатам. Мы можем доказать, что с точки зрения применения математических правил второе рассуждение будет некорректным. Точно так же мы можем продемонстрировать, что при применении математических правил для решения практической ситуации мы можем не достичь желаемого результата. Тем не менее мы можем *понять*, в каких

ситуациях разрешено и корректно использовать рассуждения, построенные по первому типу, а в каких ситуациях – по второму, т. е., по сути, когда мы должны применять один или другой набор эпистемических норм. Таким образом, понимание можно рассматривать в качестве промежуточного звена между эксплицитно не выраженной нормой рассуждения и осуществлением рассуждения на практике.

Примечания

- ¹ См., напр.: *BonJour L.* In Defense of Pure Reason: a rationalist account of a priori justification. Cambridge, 1998; *Engel P.* Va savoir! De la connaissance en général. P., 2007. Стоит отметить, что признание в том или ином виде эпистемических норм является не только чертой рационалистически ориентированных философских течений (например, умеренного рационализма), но и натуралистических эпистемологий.
- ² См., напр.: *Knowles J.* Naturalised Epistemology without Norms // *Croatian Journal of Philosophy.* 2002. Vol. II. № 6. P. 281–295.
- ³ *Pollock J.L.* Epistemic Norms // *Synthese.* 1987. № 71(1). P. 61–95. В качестве развития своей концепции эпистемической нормативности Поллок предлагает теорию натуралистического интернализма, т. к., по его мнению, экстернализм, в качестве эпистемологической парадигмы, слабо аргументирован. В настоящей статье мы частично затрагиваем противостояние интернализм/экстернализм в связи с эпистемической нормативностью. Тем не менее важно отметить, что для более поздних концепций эпистемических норм намечается тенденция согласования интерналистских и экстерналистских теорий.
- ⁴ См. ставшую классической работу: *Kvanvig J.* The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding. N.Y., 2003. **Основная цель книги Кванвига заключается** в обосновании того, что ценность понимания превосходит ценность только знания или только обоснования верования. Данная работа написана в русле дискуссий относительно ценности знания, возникшей вокруг классического определения Платона (об этих дискуссиях см.: Клодин Тьерселан в Коллеж де Франс. <http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/course-2010-2011.htm>. Отталкиваясь от определения знания, предложенного Платоном в диалоге «Менон», Кванvig последовательно рассматривает знание, обоснование и понимание, пытаясь выявить их ценностный аспект. В данной работе мы не затрагиваем ценностный аспект проблемы понимания, однако используем ряд характеристик понимания, предложенных Кванвигом в рамках выявления отличий между пониманием и знанием.
- ⁵ *Engel P.* Epistemic norms. 2009. <http://www.unige.ch/lettres/philo/enseignants/pe/Engel%202009%20Epistemic%20norms%20-%20draft.pdf>.

- ⁶ Подробнее о данных затруднениях, а также о парадоксе следования норме/ правилу см.: *Boghossian P. Epistemic Rules // Journal of Philosophy. 2008. Vol. 105(9). P. 472–500.* Здесь также стоит отметить, что предложенное Поллоком определение эпистемических норм как таких норм, «которые описывают, является ли эпистемически разрешенным придерживаться определенного набора верований» (*Pollock J.L. Epistemic Norms. P. 61*) в целом разделяется не только представителями натуралистического направления в эпистемологии, но и их оппонентами из представителей рационалистических направлений, полагающих, что данные нормы носят априорный характер.
- ⁷ *Pollock J.L. Epistemic norms. P. 75.*
- ⁸ Словосочетания «эпистемическая норма» и «эпистемическое правило» часто используются как синонимичные. Тем не менее ряд исследователей данного вопроса проводят между ними различия. Так например, Пол Богосян указывает на тот факт, что если правило всегда представляет собой императив, выраженный в форме «Делай А!», то норма представляет собой высказывание иного типа: «Если имеются обстоятельства С, то нужно сделать А». В случае с эпистемическими нормами на месте действия подставляется «рационально полагать» или «позволено полагать» и т. д. Однако, согласно Богосяну, любой императив можно переформулировать в гипотетическое выражение нормативного типа. Поэтому мы полагаем, что существенного различия между данными словосочетаниями нет. (См.: *Boghossian P. Epistemic Rules // Op. cit.*)
- ⁹ *Pollock J.L. Epistemic norms. P. 67.*
- ¹⁰ *Ibid. P. 66.* Курсив автора.
- ¹¹ *Ibid. P. 68.* **Здесь важно отметить, что как последовательный представитель натуралистического направления в эпистемологии, Поллок полагает, что вопрос о непосредственном функционировании эпистемических норм может и должен рассматриваться скорее в рамках психологии (например, в лабораторных условиях), нежели в рамках философских дисциплин.**
- ¹² *Ibid. P. 74.*
- ¹³ *Boghossian P. Epistemic Rules. P. 472.*
- ¹⁴ Подробнее об этом см.: *Wedgwood R. The A Priori Rules of Rationality // Philosophy and Phenomenological Research. 1999. Vol. 59. № 1. P. 113–131.* В данной статье Веджвуд предлагает концепцию эпистемической нормативности, в рамках которой осуществляется попытка согласования интерналистского и экстерналистского взгляда на природу норм. Кроме того, он предлагает разделить нормы на базовые (или априорные, необходимые, универсальные и не зависящие от опыта, а потому неизменные) и вторичные нормы, подлежащие постоянной корректировке. При этом нормы первого типа Веджвуд основывает на классическом кантовском определении априорности.
- ¹⁵ Аналогичный ход, но уже для обоснования возможности априорных понятий, использует Кристофер Пикок. См.: *Peacock Ch. Explaining the A Priori: The Programme of Moderate Rationalism // Boghossian P., Peacock Ch. (ed.) New Essays on the A Priori. Oxford–N.Y., 2002. P. 255–285.*
- ¹⁶ *Pollock J.L. Epistemic norms. P. 90.*

- ¹⁷ См. также критику данного тезиса: *Brogaard B. I know. Therefore, I understand.* 2005. <http://philpapers.org/rec/BROIKT>. В данной статье на основании анализа аргументов Кванвига делается вывод, хотя, по признанию автора и несколько контринтуитивный, что если понимание и знание не являются одним и тем же, то по крайней мере, представляют собой два параллельных познавательных процесса.
- ¹⁸ В качестве примера здесь можно привести ситуацию, сконструированную А. и Б. Стругацкими в романе «Понедельник начинается в субботу». Директор НИИЧАВО представлял собой одного человека, но в двух ипостасях (А-Янус и У-Янус): «Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком – Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались» (*Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу // Стругацкие А. и Б. Избранное. М., 1989. С. 83*).

Е.В. Вострикова

Значение индексикальных выражений*

Ekaterina Vostrikova. The meaning of indexicals

В статье рассматривается семантика индексикальных выражений, сформулированная в работах Д.Каплана. Анализируются основные свойства индексикальных выражений. Рассматривается возможность смещенного прочтения индексикальных выражений в русском языке. Демонстрируется, что частица «мол» в русском языке должна анализироваться как оператор смешанного цитирования. Демонстрируется, что индексикал «сейчас» в русском языке может получать смещенное прочтение, когда оказывается в области действия интенционального оператора.

Ключевые слова: индексикалы, контекст, двухмерная семантика, операторы-монстры, содержание, характер, цитирование

The paper discusses the semantics of indexicals and shifted indexicals in Russian. The author shows that the particle «mol» in Russian should be analyzed as an operator of mixed quotation. However intensional verbs in Russian can be monsters in Kaplanian sense, because «now» can get a shifted reading when it appears under the scope of an intensional operator.

Keywords: Indexicals, context, two-dimensional semantics, monsters, content and character, mixed quotation

Какие выражения являются индексикальными?

Индексикальными выражениями называются выражения, значение которых зависит от контекста, в котором они произнесены. Можно привести следующие примеры индексикальных выражений: «я»,

* Подготовлено при поддержке РГНФ, проекты № 12-03-00588а, № 14-33-01043а.

«он», «этот», «сегодня», «сейчас», «завтра». Если слово «я» произносится мной, то оно указывает на меня. Если же его произносит Вася, то оно указывает на Васю. Сходным образом, слово «сегодня» всегда указывает на текущий день, а слово «сейчас» на текущий момент.

Этот список не является полным: некоторые исследователи полагают, что собственные имена, такие как «Катя», являются индексикальными выражениями¹. Возможно, к индексикальным выражениям или выражениям, содержащим индексикальный элемент, можно отнести такие слова как «мама», «брат».

Можно также заметить, что значение многих выражений языка зависит от контекста. В частности, значение так называемых обобщенных кванторов, т. е. таких выражений, как «каждый», «все» является зависимым от контекста. Например, при произнесении предложения «Каждый студент сдал экзамен» говорящий вряд ли имеет в виду, что каждый студент в мире сдал экзамен. Скорее речь идет о некоторой ограниченной группе людей – конкретном классе или школе. Один из подходов к семантике таких выражений состоит в том, что они содержат скрытые элементы, наподобие индексикальных, значение которых определяется контекстом. Однако в данной статье я не буду рассматривать все выражения, значение которых может зависеть от контекста, в качестве индексикальных.

Такие индексикальные выражения, как «я», «сегодня», «мы», обладают рядом интересных семантических свойств, что позволяет нам выделить их в отдельную категорию, именно о них пойдет речь в этой статье.

Задачей данной статьи является описание этих семантических свойства. Наиболее значимый вклад в исследование семантики индексикальных выражений внес Д.Каплан. В основном здесь будут обсуждаться его идеи.

Их значение не зависит от интенций говорящего или его жестов, оно является «автоматическим».

Их значение нельзя свести к дескрипции, их индексикальная природа является уникальной.

Они позволяют нам формулировать предложения, которые являются априорными, но не необходимыми.

Их значение не может быть изменено модальным оператором, они обладают прямой референцией и являются жесткими десигнаторами.

Рассмотрим эти свойства более подробно.

1) их значение является «автоматичным».

Каплан² предлагал провести различие между демонстративами и индексикальными выражениями. В частности, значение таких выражений, как «он», «она», «этот человек», зависит от интенций говорящего, а также от того, на кого говорящий указывает. Эти выражения он называет демонстративами. Однако значение слова «я» в этом смысле не зависит от интенций говорящего, оно всегда указывает на самого говорящего. Значение как демонстративов, так и индексикалов зависит от контекста, однако, только значение индексикалов является «автоматическим».

Здесь можно возразить, что значение таких слов, как «сейчас» и «здесь» в действительности отчасти зависит от интенций говорящего, а следовательно они не являются индексикалами в этом смысле. Например, значение слова «сейчас» может зависеть от того, имеет ли говорящий интенцию указать на город, страну, конкретный офис или конкретный стул в офисе. Значение слова «сейчас» также может изменяться в зависимости от того, какой промежуток времени имеет в виду говорящий. Однако я буду рассматривать эти выражения как индексикальные, поскольку некоторый автоматизм значения здесь все же присутствует. Например, «сейчас» всегда указывает на текущий момент времени, каким бы большим или маленьким этот момент ни был.

2) их значение нельзя свести к дескрипции, их индексикальная природа является уникальной. Благодаря этому свойству индексикальные выражения в философии получили название «сущностные индексикалы» (Дж.Перри). Воспользуемся знаменитым примером из работы Дж.Перри³. Представим себе, что некоторый гражданин по имени Рудольф Лингенс потерял память и заблудился в библиотеке Стенфордского университета. Он не помнит, где находится и как его зовут. Он прочитал множество книг, пока находился в этой библиотеке. Среди этих книг также была его собственная биография и подробный план-проспект самой библиотеки. Таким образом, Рудольфу известно множество истин о Рудольфе Лингенсе. Однако пока он не может сказать: «Я – Рудольф Лингенс, и это место – пятый этаж главного здания библиотеки университета Стенфорда», мы можем утверждать, что ему не известна некоторая сущностная информация о нем самом. Таким образом, выра-

жение «я» является сущностным индексикалом, его нельзя свести к множеству дескрипций, которые известны Рудольфу Лингенсу. Человеку могут быть известны все дескриптивные предложения о мире, однако из этого не будет следовать, что он знает значения предложений, содержащих индексикальные выражения.

Рассмотрим также другой известный пример. Представим себе, что я смотрю на отражение в окне и вижу человека, на котором горят брюки. Я могу подумать «Его штаны горят», а могу подумать «Мои штаны горят», и мои дальнейшие действия будут зависеть от того, что конкретно я подумаю. Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что в данном случае выражения «его штаны» и «мои штаны» указывают на один и тот же объект. Значит, семантика выражений «его» и «мои» должна быть различной. Семантическая теория индексикальных выражений должна принять во внимание данное различие.

3) они позволяют нам формулировать предложения, которые являются априорными, но не необходимыми. Каплан предлагает рассмотреть предложение «Я существую». Вне зависимости от того, кем произносится это предложение, оно всегда является истинным. Истинность этого предложения может быть установлена априори, без обращения к опыту. Еще один широко обсуждаемый пример: «Я здесь». Это предложение также будет истинным при любом его произнесении. Является ли какое-то из этих предложений необходимым? По всей видимости, нет.

Мы можем провести тест для того, чтобы установить, являются ли они необходимыми. Для этого, нужно поместить эти предложения в модальный контекст с отрицанием. В результате мы получим (1) и (2).

(1) Я мог бы не существовать.

(2) Я мог бы находиться не здесь.

Если (1) и (2) являются ложными, то «Я существую» и «Я здесь» являются необходимыми. Однако, в действительности, я могла бы не существовать или могла бы находиться в другом месте. Из этого следует, что предложения (1) и (2) не выражают необходимой истины.

Однако тезис о том, что предложение «Я здесь» всегда является истинным, на мой взгляд, является не вполне точным. Представим себе такую ситуацию: я стою возле карты в метро, указываю паль-

цем на местоположение на карте и произношу «Я здесь». В данном случае это предложение вполне может оказаться ложным, и конечно, мне не может быть известна его истинность априори. Возможным ответом на это возражение будет проведение различия между непосредственным и опосредованным употреблением выражения «здесь». Можно указать на тот факт, что в данном случае данное слово используется опосредованным образом. Оно не используется здесь в своем обычном прямом значении, а используется для указания на место через карту.

Также сомнения могут возникнуть относительно «Я существую». Предположим, я слышу это предложение от известного артиста по телевизору. Нужна ли мне еще какая-то информация для того, чтобы заключить, что этот человек действительно существует? Да, мне нужно знать, что он произнес эти слова сам, что он произнес их недавно и т. д. Таким образом, «я существую» является априорно истинным не само по себе, а при условии, что я знаю, что я слышу это от самого человека в определенный момент времени.

Тем не менее «я существую» и «я здесь» имеют особый статус, что является интересным их свойством, и семантика данных выражений должна принимать это во внимание.

4) тезис о прямой референции индексикальных выражений. Значение индексикальных выражений нельзя свести к дескрипции или набору дескрипций. Например, мы могли бы рассмотреть дескрипцию «тот, кто говорит» или «говорящий» в качестве кандидата на значение слова «я». Однако, несложно показать, что данная дескрипция не является значением слова «я».

Сравним такие предложения:

(3) Вася сказал, что я устал.

(4) Вася сказал, что тот, кто говорит, устал.

В случае (4) дескрипция «тот, кто говорит» может указывать на самого Васю. Однако, в предложении (3) слово «я» все равно будет указывать на того, кто произносит предложение (3). Слово «я» не может изменить своего значения в косвенном контексте, его значение предполагает, что оно указывает на автора прямой речи, а не на автора косвенной речи.

Можно также сопоставить употребление слова «я» и определенной дескрипции «говорящий» в другом модальном контексте.

(5) Если бы выступал Петя, то говорящий был бы мужчиной.

(6) *Если бы выступал Петя, то я была бы женщиной.

Предложение (5) является истинным, определенная дескрипция «говорящий» вполне может указывать на Петю. Однако в (6) слово «я» не может указывать на Петю. Оно будет указывать на того, кто произносит данное предложение. И конечно, пол произносящего (6) не может зависеть от пола выступающего человека – Петра, о котором идет речь в (6).

Итак, модальные контексты позволяют продемонстрировать, что выражение «я» не тождественно дескрипции «говорящий». Дескрипции не являются жесткими десигнаторами, они могут указывать на разные объекты в разных возможных мирах. Индексикальное выражение «я» указывает на один и тот же объект во всех возможных мирах.

Следует ли из этого, что выражение «я» должно обладать прямой референцией? Кажется, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Выражение обладает прямой референцией, если оно обозначает свой объект напрямую без опосредования каким-либо дескриптивным содержанием.

Наш контраст между предложениями (3) – (4) и (5) – (6) показывает только, что дескрипция, которая не является жестким десигнатором, не может быть значением выражения «я». Однако не вполне ясно, каким образом этот аргумент мог бы использоваться для того, чтобы показать, что дескрипция, которая является жестким десигнатором (например, «актуальный говорящий»), не может быть значением слова «я».

Наиболее влиятельная теория значения для индексикальных выражений была сформулирована в работах философа Дэвида Каплана. Он предложил семантику для индексикальных выражений, которая принимала во внимание все эти четыре свойства.

Каплановская семантика для индексикальных выражений

Философский интерес Каплана к семантике индексикальных выражений, по его собственному признанию, состоял в том, чтобы продемонстрировать, что существуют выражения, обладающие прямой референцией.

«Я все больше интересовался проблемами, связанными с тем, что я хотел бы назвать семантикой прямой референции. Под этим имеется в виду теории значения, согласно которым определенные единичные термины имеют прямую референцию без опосредования фрегевскими смыслами. Если существуют такие термины, то propositions выражаемые предложениями, содержащими такие термины, включали бы индивиды, а не “индивидуальные понятия (концепты)” или “способ представления”, как меня учили думать»⁴.

В формальной семантике значение произвольного выражения a обозначается следующим образом: $[[a]]$. Квадратными скобками обозначается интерпретирующая функция, она приписывает значение (денотат) выражениям естественного языка. Интерпретирующая функция может быть релятивизирована, т. е. может зависеть от некоторых параметров. Например, в качестве такого параметра может выступать приписывающая функция g , функция, которая приписывает значение переменным. Стандартными параметрами также являются время и возможный мир: $[[a]]^{g,w,t}$. Существуют операторы, которые могут менять параметры интерпретирующей функции. Например, прошлое время может интерпретироваться как такой оператор:

(7) $[[\text{Прошлом } p]]^{w,t} = 1$ если и только если существует такой момент времени $t' < t$, для которого $[[p]]^{w,t'} = 1$,
где p – некоторое предложение.

Ключевым понятием в семантике Каплана для индексикальных выражений было понятие *контекста*. Контекст рассматривается как дополнительный параметр, относительно которого должна оцениваться интерпретирующая функция. Контекст – ситуация, в которой осуществляется высказывание. Эту ситуацию можно описать, определив следующие параметры: кто является автором высказывания, в какое время и в каком возможном мире совершается данное высказывание.

Контекст можно понимать как упорядоченную тройку элементов $\langle a_c, t_c, w_c \rangle$, где a_c – это говорящий или автор (агент произнесения), t_c – время и w_c – мир контекста (иногда также можно дополнить это координатой говорящего или места). Эти элементы иногда также называются координатами контекста. Для анализа некоторых индексных выражений (таких, как «ты», «твой») требуется также введение координаты слушателя, адресата высказывания.

Почему нам не достаточно просто параметра возможного мира? Возможные миры используются для того, чтобы представить разные возможности того, каким бы мог быть мир. Возможные миры отличаются друг от друга, и когда мы определяем положение нашего мира среди возможных миров, мы исключаем другие способы, каким мог бы быть мир. Но естественный язык требует проведения более тонких различий, чем это допускается в семантике возможных миров. В рамках одного возможного мира индивид может занимать разные положения. В соответствии с этим может меняться субъективная перспектива индивида. Вспомним пример с Лингенсом, который потерял память и заблудился в библиотеке. Знаний о том, в каком мире находится Лингенс, не достаточно для того, чтобы Лингенс нашел выход из данной библиотеки. Для этого требуется также знать, какую именно позицию в рамках одного возможного мира занимает Лингенс. Контексты используются для того, чтобы представить разные субъективные перспективы, которые возможные для индивида в рамках одного мира.

Дэвид Льюис предложил такую метафору⁵: возможный мир это карта, а централизованный возможный мир – это карта со стрелкой, которая указывает на точку «вы находитесь здесь».

Параметр контекста применяется в семантике индексных выражений следующим образом:

(8) $[[я]]^{g, c, w, t}$ = говорящий в контексте c

(9) $[[ты]]^{g, c, w, t}$ = адресат в контексте c

(10) $[[сейчас p]]^{g, c, w, t} = [[p]]^{g, c, w, tc}$

В рамках данной семантики такое выражение, как «сейчас», рассматривается как оператор, который изменяет параметр времени на время контекста, в результате чего предложение p рассматривается относительно времени контекста.

Различие между характером и содержанием

Как мы видим, интерпретирующая функции релятивизирована относительно параметра контекста и параметра возможного мира. Суть идеи различия между характером и содержанием состоит в том, что эти параметры не расположены в произвольном порядке. Интерпретирующая функция сначала берет контекст в качестве аргумента, и лишь затем возможный мир.

Содержанием в семантике Каплана называется модальный профиль выражения, это обычный интенционал выражения в стандартной семантике возможных миров, функция, которая в качестве аргумента берет возможный мир, а в качестве результата возвращает экстенционал. К примеру, интенционалом предложения является пропозиция, а экстенционалом – истинностное значение. Интенционалом определенной дескрипции является индивидуальный концепт, а экстенционалом объект, на который указывает дескрипция. Интенционалом прилагательного или существительного является понятие, а экстенционалом класс (множество) объектов.

Второй аспект значения в семантике Каплана называется характером. Характер отражает то, как интенционал выражения зависит от контекста его произнесения.

Имя собственное, например «Лингенс», имеет неизменяющийся характер, во всех возможных контекстах это выражение имеет одно и то же содержание. Однако дело обстоит иначе с «я».

Характер – это функция, которая берет в качестве аргумента контекст употребления и в качестве результата дает содержание, интенционал этого выражения. Содержание – это функция, которая берет возможный мир в качестве аргумента и возвращает экстенционал.

В современной философии эта система получила название двухмерной семантики, т. к. речь идет о двух параметрах, которые принимаются во внимание контекст употребления и обстоятельства оценки.

Мы можем использовать двухмерные матрицы Столнакера⁶ для репрезентации различия между характером и содержанием.

Горизонтальный ряд представляет возможные миры – обстоятельства оценки, содержание, а контексты представлены по вертикальной оси.

Таблица 1

«я»	w_1	w_2	w_3
c_1 произносится Лингенсом	Лингенс	Лингенс	Лингенс
c_2 произносится Перри	Перри	Перри	Перри
c_3 произносится Катей	Катя	Катя	Катя

Как мы видим из таблицы 1, значение выражения «я» меняется в зависимости от контекста, но не меняется в зависимости от мира. Характер этого выражения – это функция, которая может выдавать различные значения. Но значение «я» не меняется в зависимости от возможного мира. Содержание этого выражения – это функция, которая принимает одно и то же значение для всех аргументов – возможных миров. Это означает, что «я» является жестким десигнатором, когда контекст произнесения «я» установлен, мы можем оценивать это выражение в разных возможных мирах, и оно будет обозначать один и тот же объект во всех возможных мирах.

В таблице 2 представлены характер и содержание высказывания «я существую».

Таблица 1

«Я существую»	мир, где только Лингенс существует	мир, где только Перри существует	мир, где только Катя существует
произносится Лингенсом	истинно	ложно	ложно
произносится Перри	ложно	истинно	ложно
произносится Катей	ложно	ложно	истинно

Горизонтальные ряды содержат как значения «истинно», так и значения «ложно». Это показывает, что предложение «Я существую» не является необходимой истиной, вне зависимости от того, кем оно произносится – Лингенсом, Перри или Катей.

Каплан выдвигает следующий тезис: когнитивное значение мысли определяется характером⁷, а не содержанием.

Два предложения (11) и (12) обладают разным характером.

(11) Штаны Джона Перри горят.

(12) Мои штаны горят.

Характер выражения «Джон Перри» – это функция, которая для каждого контекста выдает один и тот же результат. Иными словами, значение имени собственного «Джон Перри» не зависит

от контекста произнесения, неважно, кто является автором данного высказывания, это выражение все равно будет указывать на Джона Перри.

Выше мы указывали на то, что адекватная семантика индексных выражений должна предсказывать, что (13) и (14) являются априорными предложениями:

(13) Я нахожусь здесь сейчас.

(14) Я существую.

Мы не можем рассматривать такие выражения, как «я», как константы или имена собственные. Собственное имя указывает на одного и того же человека, но «я» указывает на разных людей, в зависимости от того, кто говорит. Если мы рассматриваем индексные выражения как имена собственные, мы не можем объяснить ту когнитивную роль, которую играют индексные выражения. Если мы заменим индексные выражения на имена собственные и другие референциальные термины в (17') и (18'), то получившиеся предложения потеряют свой особый статус:

(13') Ваня находится в Москве в среду.

(14') Ваня существует.

Истинность этих предложений нельзя определить, не зная местоположения Вани и не зная, жив он или нет.

Из таблицы 2 мы видим, что диагональ высказывания «я существую» (выделено цветом) получает всегда только значение «истинно». Именно это и определяет априорный статус высказывания «я существую». Предложения (13) и (14) является априорным, поскольку они истинны в любом контексте.

(15) В любом контексте c $[[\text{Я существую}]]^{c,t,w_c} = [[\text{существую}]]^{c,t,w_c}([[\text{Я}]]^{c,t,w_c}) = [[\text{существую}]]^{c,t,w_c}(a_c) = 1$, если и только если говорящий контекста c существует в мире контекста c .

(где a_c – это агент (говорящий) в контексте.)

Мы должны прописать в качестве отдельного условия, что говорящий существует в мире контекста и времени контекста. То, что «существую» оценивается в мире контекста, определяется тем, что параметр возможного мира – это обычно мир произнесения предложения, если конечно, этот параметр не был изменен каким-либо модальным оператором.

Возникает следующий важный вопрос: может быть, в таком случае, нам не нужны оба параметра: параметр возможного мира и параметр контекста? Мы видели, что параметр контекста нам не-

обходим для адекватного анализа предложений (14) и (15). Однако несложно показать, что мы не можем также отказаться от параметра возможного мира. Параметр возможного мира требуется для анализа таких операторов, как «необходимо», «возможно». Эти операторы изменяют параметр возможного мира (16).

(16) $[[\text{необходимо } p]]^{g,w,t}=1$ если и только если для всех миров, достижимых из w $[[p]]^{g,w,t}=1$.

Если же мы будем рассматривать эти операторы как изменяющие параметр контекста, мы получим нежелательные результаты. В частности, как это видно из (17), мы предсказываем, что предложение «я существую» является необходимо истинным. Однако очевидно, что данное предложение вовсе не является необходимо истинным. Если бы это было так, то предложение «я мог бы не существовать» являлось бы ложным.

(17) $[[\text{необходимо, что я существую}]]^{g,c}=1$ если и только если для всех контекстов $[[\text{я существую}]]^{g,c,t}=1$.

В действительности, «необходимо» изменяет параметр возможного мира, относительно которого оценивается «я существую», просто «я» не является чувствительным к параметру возможного мира.

(18) $[[\text{необходимо, что я существую}]]^{g,w,c}=1$ если и только если для всех миров w' , достижимых из мира w , $[[\text{существую}]]^{g,c,w',t}([[я]]^{g,c,w',t})=1$, если и только если говорящий контекста c является одним из существующих объектов мира w' .

Операторы-монстры

Мы видели, что два предложения (11) и (12) обладают разной когнитивной значимостью.

(11) Штаны Джона Перри горят.

(12) Мои штаны горят.

Однако, на первый взгляд, в косвенной речи это различие утрачивается. Вне зависимости от того, какое предложение было произнесено Джоном Перри, мы будем передавать его речь при помощи (19):

(19) Джон сказал, что его штаны горят.

Выше мы рассматривали предложения (3) и (4).

(3) Вася сказал, что я устал.

(4) Вася сказал, что тот, кто говорит, устал.

(4) имеет такое прочтение, согласно которому говорящий сказал, что он сам устал. Однако слово «я» в «я устал» может указывать только на того, кто произносит (3), но не может указывать на Васю, чью речь передает данное предложение. Для того, чтобы «я» в (3) указывало на Васю, параметр контекста должен быть изменен, «я» должно оцениваться в контексте речевого акта Васи, а не в контексте речевого акта произнесения всего предложения (3). Дэвид Каплан полагал, что ни одно выражение в естественных языках не может изменять параметр контекста, и называл их «монстрами». Такие операторы, как «необходимо», «думаю, что» могут изменять только параметр возможного мира.

Оператор-монстр может быть формально определен следующим образом⁸:

(20) [[Оператор p]]^{c, t, w} = λc' [[p]]^{c', t, c'w}

Этот оператор будет давать нам множество контекстов или диагональ предложения. Мы видели, что именно диагональ определяет когнитивную значимость предложения.

Каплан считал, что в естественном языке такой оператор не существует и существовать не может.

Однако существуют такие языки, в которых такие выражения, как «я», могут изменять свое значение в косвенных контекстах (примеры из литературы: язык зазак и амфарский язык). Если дословно перевести (3) на такие языки, то это предложение может значить, как то, что говорящий сказал про себя, что он не прав, так и то, что говорящий сказал про меня, что он не прав.

Возможно, что русский язык является одним из таких языков.

(21) Вася₁ сказал, что я₁, мол, устал.

В последнем разделе мы более подробно рассмотрим (21).

Существуют ли операторы-монстры в русском языке?

В предложении (21) «я» может указывать на Ваню. Такое поведение не является типичным для индексикалов. Можно ли заключить, что «мол» является оператором-монстром в русском языке? Я полагают, что «мол» следует анализировать как оператор цити-

рования. Соответственно, этот оператор не является монстром в каплановском смысле. Мы можем провести ряд тестов для того, чтобы определить природу «мол».

«Мол» не требует, чтобы все индексикалы в его области действия получали смещенное прочтение.

(22) Лиля в Питере мне сказала, что, мол, надоело мне здесь работать.

«Мне» может указывать на «Лилю», и при этом «здесь» может указывать не на Санкт-Петербург, а на текущее местоположение того, кто произносит данное предложение (22).

Однако этот тест не позволяет однозначно установить, является ли «мол» оператором-монстром. В амхарском языке принцип одновременного смещения всех индексикалов также не соблюдается, при этом интенциональные операторы в этом языке являются монстрами.

Другой тест, предлагаемый в литературе, состоит в том, чтобы проверить, допускает ли оператор выдвигание элементов из его области действия. Примером выдвигания может служить вопросительное слово:

(23) Кого, Саша сказал, Маша любит?

«Маша любит» не является полным предложением, в нем не хватает объекта. Этот объект замещается вопросительным словом «кого» и выдвигается в начало предложения.

Цитируемый материал не может быть разбит и выдвигание элементов должно быть невозможно.

(24) *Кого Саша сказал: «Маша любит»?⁹

Однако «мол» допускает выдвигание элементов.

(25) Кого, Саша сказал, мол, Маша любит?

Значит ли это, что «мол» не является оператором цитирования? Я думаю, что нет.

Существует такой феномен, как смешанное цитирование. Смешанное цитирование не запрещает выдвигание элементов:

(26) Кого Саша сказал, Маша «любит»?

Феномен смешанного цитирования состоит в том, что часть предложения выражена словами в обычном значении, а часть слов цитируется. При этом та часть, которая цитируется, представляет собой органичную часть предложения. Цитируемое предложение не только упоминается, но и используется, т. е. не только указывает на слова, которые были произнесены, но сохраняет свое обычное значение.

(27) Лиля отказалась участвовать в «этом дурацком мероприятии».

В (27) объект глагола «участвовать» выражен при помощи материала, который заключен в кавычки. Без этого материала предложение является неполным. При этом кавычки указывают на то, что Лиля использовала эти слова, когда отказывалась от участия.

Можно ли провести какие-либо дополнительные тесты, чтобы установить, является ли в действительности «мол» показателем частичного цитирования? Оператор цитирования должен быть способен изменить значение любых выражений с их обычного значения на цитируемое. На мой взгляд, «мол» ведет себя именно так. В (28) «мол» используется с обращением, что не допускается в обычной косвенной речи, как это показано в (33). В (30) «интересантненько» не является словом русского языка, однако, «мол» указывает на то, что Саша произнес это слово.

(28) А Саша и говорит мне: что, мол, Марфонька, не стоит ходить туда¹⁰.

(29) *Саша сказал мне: что, Марфонька, не надо ходить туда

(30) Саша, как обычно, завелся: мол, интересантненько получилось

Именно возможность такого использования может показать, что «мол» вводит цитирование.

На первый взгляд, проблемой для анализа «мол» как оператора смешанного цитирования является тот факт, что «мол» не требует точной передачи слов. «Мол» может передавать мысли или даже предполагаемые мысли.

(31) Лиля подумала, что, мол, попала я.

(32) Лиля резко встала, мол, разговор окончен.

С другой стороны, обычное цитирование также возможно в сходных ситуациях:

(33) Лиля подумала: «А не поехать ли мне в Сочи?»

(34) Лиля резко встала, как бы говоря: «Разговор окончен».

Эти примеры показывают: цитирование может использоваться, даже когда не было произнесения слов или четко выраженной предложением мысли. Таким образом, в действительности, эти примеры показывают, что цитирование нельзя определить просто как оператор, который меняет значение выражений и делает объектом указания сами выражения. Ведь в случае с использованием

цитирования для передачи мысли мы не указываем на слова, поскольку эта мысль не была выражена в словах. В случае с (34) речь даже не идет о каких-то конкретных мыслях или словах. Теория цитирования должна предложить объяснение для этого феномена. Однако никакой отдельной проблемы, связанной с использованием «мол», здесь нет. «Мол» в этом смысле ведет себя как обычный оператор цитирования, а именно кавычки. Данный факт может быть затруднением для теорий цитирования, где цитирование понимается как упоминание знаков.

Существует также такой феномен, как свободная непрямая речь.

(35) Лиля была расстроена. Неужели она пропала? Неужели же ключ не найдется?

В (35) второе и третье предложение передают мысли Лили, однако, они не вводятся словами «она подумала, что». Этот феномен называется «свободная непрякая речь». Эта речь не является прямой, потому что во втором предложении используется местоимение третьего лица, а не местоимение первого лица.

(36) *Лиля была расстроена. Неужели, я пропала.

Если же используется местоимение первого лица, то оно не может быть понято как указывающее на Лиллю, «я» во втором предложении в (36) указывает на того, кто произносит (36). «Мол» также может использоваться в свободной непрякой речи.

(37) Лиля сияла счастьем. Мол, вот оно, долгожданное повышение.

Можно ли говорить о том, что «мол» является оператором, который вводит свободную непрякую речь?

Шарвит¹¹ выдвигает следующий тезис: если в некотором языке такие индексные выражения, как «я», указывают на говорящего, когда используются в косвенных контекстах (т. е. индексикалы не могут быть смещены в косвенных контекстах), то в этом языке индексикалы будут указывать на говорящего и в свободной непрякой речи. Именно это мы и наблюдаем в (36). Таким образом, будет недостаточно просто сказать, что «мол» является показателем свободной непрякой речи. Само по себе это не может служить объяснением для смещенного прочтения индексикалов, поскольку в свободной непрякой речи индексикалы получают свое обычное несмещенное прочтение. При цитировании, однако, индексикалы получают смещенное прочтение:

(38) Лилия подумала: «Я хотела бы выиграть этот конкурс».

В (38) «я» указывает на Лилию, а не на говорящего.

Другая причина, по которой «мол» не является оператором, который вводит свободную непрямую речь, состоит в том, что «мол» свободно может оказываться в области действия интенциональных глаголов-операторов, таких как «подумал, что», «сказал, что». Свободная непрямая речь именно и определяется как косвенная речь, которая не вводится никаким оператором.

(39) *Катя подумала, что, мол, пора и честь знать.

Другая проблема, связанная с анализом «мол» как оператора смешанного цитирования состоит в том, что «мол», в отличие от кавычек, не требует обязательного смещения значения индексикалов, а также допускает использование местоимений третьего лица для указания на автора косвенной речи.

(40) *Катя₁ сказала: «Она₁ должна идти»¹².

(41) Катя₁ сказала, что, мол, она₁ должна идти.

(42) Катя₁ сказала, что, мол, я₁ должна идти.

Прочтение (40), при котором «Катя» и «она» указывают на одно и то же лицо, невозможно. Однако оба предложения, (41) и (42), возможны в таком прочтении. Это означает, что между «мол» и кавычками есть различие. Можно ли в рамках теории о том, что «мол» является оператором цитирования объяснить (41)?

Можно сказать, к примеру, что в (41) «она» не находится в сфере действия оператора «мол». В таком случае «мол» является необычным оператором, его положение в предложении не определяет то, какие выражения находятся в области его действия, не определяет то, где начинается и где заканчивается область его действия. Данная проблема, на мой взгляд, является самой серьезной для данного подхода.

Область действия других операторов, например, «считать, что» обычно начинается с выражений, стоящих справа от него в предложении. Из этого правила возможны исключения. Известно, что некоторые именные группы могут получать прочтение *de re*. Так, например, (43) может использоваться для описания верования Лили, в ситуации, когда она видела некоторого человека, который выходит из ее подъезда и считает, что он живет в ее доме. При этом она не знает, что он мой брат. «Мой брат» не входит в область действия оператора «считает, что», это выражение не оценивается с точки зрения возможных миров, совместимых с верованием Лили.

(43) Лиля считает, что мой брат живет в ее доме.

Один из подходов к объяснению возможности прочтения *de re* состоит в том, что «мой брат» на уровне логической формы совершает передвижение и оказывается вне сферы действия «считает, что». Согласно данному подходу, поверхностное положение выражения «мой брат» не совпадает с его положением в логической форме предложения.

Мы могли бы использовать сходную стратегию для объяснения (41). «Она» оказывается вне сферы действия «мол», потому что одно из этих выражений совершает передвижение на уровне логической формы.

Другой подход к решению данной проблемы состоит в том, чтобы не рассматривать «мол» как оператор цитирования. Оператор цитирования является непроектируемым элементом в предложении, а «мол» просто сигнализирует, что некоторые выражения в предложении претерпели изменения значения (с обычного значения на цитируемое).

Другой интересный случай с индексными выражениями в русском языке представлен словом «сейчас». Данное выражение, согласно теории Каплана, является индексикалом и должно указывать на время контекста произнесения предложения. Однако несложно продемонстрировать, что в русском языке слово «сейчас» имеет гораздо более свободное употребление. «Сейчас» может иметь связанное прочтение, а также может указывать на контекстно релевантное время, не связанное с временем произнесения выражения.

(44) Я весь день в окно глядела, думала, сейчас она прикатит.

В (44) «сейчас» получает связанное прочтение. (44) сообщает, что для каждого момента в течение дня автор думала, что в этот момент она прикатит.

(45) Она звонила сегодня рано утром. Сказала, что прямо сейчас уезжает и прийти не сможет.

В (45) «сейчас» указывает не на время произнесения (45). «Сейчас» указывает на время рано утром, когда состоялся телефонный разговор.

В (46) представлен другой пример того же феномена:

(46) Катя рассказывала тетке, что смотрела на него, смотрела, и все думала, что сейчас заплачет и что плакать ни в коем случае нельзя¹³.

Такие прочтения не согласуются с теорией Каплана. В (44), (45) и (46) отсутствует «мол» или какой-либо другой оператор цитирования. Возможно, что в русском языке, в отличие от английского, «сейчас» не является индексным выражением. Мы могли бы интерпретировать «сейчас» как переменную, которая получает значение от приписывающей функции или может получать связанное прочтение. В таком случае, «сейчас» будет указывать на контекстно релевантное время. «Сейчас» будет анализироваться так же, как обычное местоимение: «он» или «она». Однако этот подход имеет свои сложности. В частности, «сейчас» получает такие смещенные прочтения только при наличии интенционального оператора, такого как «думать», «считать». Если бы «сейчас» было бы обычным местоимением, тогда (47) могло бы иметь такое же значение, как и (48). Однако такое прочтение отсутствует.

(47) Каждый раз, когда мы идем в школу, тебе нужно зайти в магазин именно в тот момент.

(48) Каждый раз, когда мы идем в школу, тебе нужно зайти в магазин именно сейчас.

Возможно, в русском языке интенциональные операторы (пропозиционные установки) являются точно такими же операторами, способными манипулировать контекстом, как пропозиционные установки в амхарском языке. Используя терминологию Каплана, выражения «считать, что», «думать, что» являются монстрами в русском языке.

Проблема с этой гипотезой состоит в том, что пропозиционные установки в русском языке не способны смещать значение других индексированных, кроме «сейчас», что мы наблюдали на примере с «я». Для того, чтобы получить смещенное прочтение для «я», нам нужно использовать оператор смешанного цитирования «мол», самого пропозиционального глагола не достаточно. Возможно, что в некоторых естественных языках есть операторы-монстры, которые являются кванторами, которые связывают контекстуальные переменные. В таком случае, возможно, что некоторые выражения могут быть связанными операторами, манипулирующими контекстами (например, «сейчас» в русском языке), а другие оставаться свободными (например, «я» в русском языке). В рамках такого подхода пропозициональные глаголы в русском языке вводят квантификацию по контекстам, однако «я» всегда оказывается вне области действия данного квантора.

Таким образом, русский язык может быть свидетельством того, что доступность смещенного прочтения индексикалов зависит не только от оператора, но и от самого индексикала. Требуется дополнительное межязыковое исследование на данную тему.

Заключение

Мы рассмотрели семантику индексикальных выражений, сформулированную в работах Д.Каплана. Были проанализированы основные свойства индексикальных выражений.

Была рассмотрена возможность смещенного прочтения индексикальных выражений в русском языке. При таком прочтении индексикал указывает на не того, кто произносит предложение, а на того, кому приписывается косвенная речь. Было показано, что частица «мол» в русском языке должна анализироваться как оператор смешанного цитирования, а не как оператор-монстр в каплановском смысле. Было также продемонстрировано, что индексикал «сейчас» в русском языке может получать смещенное прочтение, когда оказывается в области действия интенционального оператора.

Примечания

- ¹ *Pelczar M. and Rainsbury J.* The Indexical Character of Names // *Synthese* Vol. 114. № 2. 1998. P. 293–317.
- ² *Kaplan D.* Demonstratives // *Themes from Kaplan*. Oxford, 1989. P. 481–563.
- ³ *Perry J.* The problem of the essential indexical // *The problem of the essential indexical and other essays*. Oxford, 1993.
- ⁴ *Kaplan D.* Themes from Kaplan. Oxford, 1989. P. 438.
- ⁵ *Lewis D.* Attitudes de dicto and de se // *Philosophical Review*. 1979. № 88(4). P. 520.
- ⁶ *Stalnaker R.* Assertion // *Syntax and Semantics*. 1978. № 9. P. 315–332.
- ⁷ *Kaplan D.* Themes from Kaplan. Oxford, 1989. P. 530.
- ⁸ *Schlenker P.* Indexicals // *Handbook of Formal Philosophy*. Dordrecht, 2013.
- ⁹ Здесь и далее «звездочкой» отмечены некорректные или неприемлемые предложения.
- ¹⁰ Пример из корпуса русского языка www.ruscorpora.ru.
- ¹¹ *Sharvit Y.* The Puzzle of free indirect discourse // *Linguistics and philosophy*. 2008. Vol. 31. № 3. P. 353–395.
- ¹² Одинаковые индексы означают, что выражения указывают на одного и того же индивида.
- ¹³ Примеры (48–50) взяты из корпуса русского языка www.ruscorpora.ru.

Проблема четвертого прочтения сообщений о верованиях*

Petr Kusliy. The Problem of the Forth Reading of Attitude Reports

Статья посвящена формально-семантическому исследованию так называемого четвертого прочтения для предложений о верованиях. Представлена экспозиция этой проблемы, в рамках которой показано, что классический логико-философский анализ сообщений о верованиях в терминах *de re* и *de dicto* прочтений не учитывает все возможные прочтения, которые могут быть им присущи в естественном языке. Два дополнительных прочтения (третье и четвертое) эксплицируются в терминологии их первооткрывателя – лингвиста Ж.Фодор. Подробному анализу подвергается именно четвертое прочтение, как наиболее проблематичное с философской и лингвистической точек зрения. Приводятся примеры естественно-языковых выражений с определенными дескрипциями, демонстрирующих реальность такого прочтения, вырабатываются корректная логическая форма и композициональная интерпретация предложений при таком прочтении. Отдельно исследуется проблема четвертого прочтения для предложений о верованиях с именами собственными. Формулируется их экспликация с использованием аппарата лингвистической прагматики Г.П.Грайса, а также критика анализа подобных случаев так называемым металингвистическим подходом к экспликации семантики имен собственных.

Ключевые слова: семантика сообщений о верованиях, четвертое прочтение, композициональность, формальная семантика, Г.Фреге, У.Куайн, Ж.Фодор, С.Крипке

The article is devoted to a formal-semantic analysis of the so-called forth reading of propositional attitude reports. An exposition of the problem is given: it is shown how classical scope analysis in logical semantics can provide only *de*

* Подготовлено при поддержке РФНФ, проект № 12-03-00588а.

re and *de dicto* readings for attitude reports and why it cannot express the two new readings discovered by J.Fodor. One of these two new readings is the forth reading which is also called specific opaque. The author offers natural language examples of cases when propositional attitude reports need to be analyzed in terms of the forth reading, constructs the truth conditions of this readings and shows how this reading can be obtained compositionally. He argues that a wide-scope interpretation of the quantifier along opaque interpretation of the descriptive content do not pose a problem contrary to some popular analyses. A problem of the forth reading for attitude reports containing proper names is also explored. It is argued that such cases must be analyzed pragmatically. A critique of the so-called metalinguistic approach to semantic analysis of such cases is provided.

Keywords: attitude reports, semantics, the forth reading, formal semantics, Frege, Quine, Fodor, Kripke

1. *De re* и *de dicto* прочтения для сообщений о верованиях

Сообщения о верованиях или других пропозициональных установках, которые могут быть присущи людям, представляли проблему для строгого семантического анализа с самого появления аналитической философии. Фреге в статье «О смысле и значении» исследовал сообщения о верованиях, с точки зрения семантики придаточного предложения и его связи с семантикой целого предложения, в которое оно входит. Фреге, как известно, указывал на то, что истинностное значение придаточного предложения никак не влияет на истинностное значение целого, а также на то, что в таком придаточном предложении замена одного выражения (или всего придаточного целиком) на кореферентное ему выражение *salva veritate* оказывается недопустимой. Фреге пишет:

«Когда Веллингтон в конце битвы под Белль-Альянском обрадовался тому, что подошли пруссаки, то основанием его радости была определенная уверенность в этом. Если бы он обманулся в этой уверенности, то все же радость его – пока продолжалась эта его иллюзия – не стала бы от этого меньше; а пока у него не было уверенности в том, что подошли пруссаки, он не мог бы радоваться этому, даже если бы в действительности они были уже близко»¹.

Из этого он делает вывод об отсутствии у придаточных предложений значения истинности, что, в свою очередь, становится первой причиной недопустимости замены придаточного предложения (или его части) кореферентным выражением:

«...все же я надеюсь, что в основном нашел причины, в силу которых не всегда можно без ущерба для истинности сложноподчиненного предложения, рассматриваемого в целом, заменять в нем придаточное предложение другим предложением с тем же самым истинностным значением. Причины эти таковы: 1) придаточное предложение не обладает никаким истинностным значением, выражая только часть мысли... Первый случай имеет место: а) в случае косвенного значения слов»².

В рамках классической традиции логической семантики сообщения о верованиях, содержащие кванторные выражения в субъектной или объектной позиции придаточного предложения, рассматриваются также как неоднозначные или, иначе, способные выражать две разные мысли (иметь две разные логические формы). Эта двусмысленность происходит из двух возможных способов интерпретации упомянутых кванторных выражений. Уже в работе «Исчисление понятий»³ Фреге рассматривает двусмысленности, связанные с интерпретацией предложений с более чем одним квантором, исследуя ограничения на сферу действия квантора, входящего в логическую форму предложения.

Специальный анализ двусмысленности сообщений о верованиях, возникающей в результате различных позиций, в которых может интерпретироваться входящий в них квантор, был, по-видимому, впервые проведен Куайном⁴, который, анализируя, помимо прочих, предложение «Ральф считает, что некто является шпионом» рассматривает то, что он называет *относительным* смыслом веры в шпионов, который выражается как

- (1) $\exists x$ (Ральф считает, что x является шпионом),
и *понятийный* смысл такой веры, выражаемый в
- (2) Ральф считает, что $\exists x$ (x является шпионом).

Эти смыслы могут быть выражены в предложениях: «Существует некто, кого Ральф считает шпионом» и «Ральф считает, что шпионы существуют», соответственно. Куайн пишет: «Различие здесь огромно; и, действительно, если Ральф такой же, как большинство из нас, то [(2)] истинно, а [(1)] ложно»⁵.

В более распространенной терминологии рассмотренный выше относительный смысл верования называется верованием *de re*, а понятийный – верованием *de dicto*.

2. Новые прочтения для сообщений о верованиях

На протяжении десятилетий развития аналитической философии языка *de re* и *de dicto* считались единственными возможными прочтениями для предложений, содержащих сообщения о верованиях. Однако в 1970 г. диссертационное исследование лингвиста Ж.Фодор⁶ показало, что для таких предложений существуют и другие логические формы. Иными словами, такие предложения могут иметь условия истинности, не соответствующие ни *de re*, ни *de dicto* прочтениям. Эти «новых» прочтений, дополняющих прочтение *de re* и *de dicto*, было два, которые со времен работы Фодор стали называться третьим и четвертым прочтением. Особенности этих прочтений заключались в том, что они представляли срединные случаи между *de re* и *de dicto* прочтениями.

Чтобы проиллюстрировать то, о чем идет речь, рассмотрим следующий пример:

(3) Оля считает, что Коля познакомился с падшей женщиной.

С точки зрения стандартной логической семантики, рассмотренной выше на примерах (1) и (2), предложение (3) может выражать лишь две логические формы – *de re* и *de dicto*, которые, следуя Куайну, мы, соответственно, выразим здесь как

(3.1) $\exists x(x - \text{падшая женщина и Оля считает, что Коля познакомился с } x)$

(3.2) Оля считает, что $\exists x(x - \text{падшая женщина и Коля познакомился } x)$

Согласно прочтению *de re*, (3.1), есть некий индивид, являющийся падшей женщиной, и, по мнению Оли, Коля познакомился с этим. Здесь важно, что речь идет о конкретном индивиде и Оля считает, что Коля познакомился именно с этим индивидом (а не просто с той или иной падшей женщиной). Причем для истинности прочтения (3.1) вовсе не обязательно, чтобы Коля или Оля знали, что этот индивид является падшей женщиной. Имея конкретного человека на уме, скажем, Зою, говорящий может утверждать, что, по мнению Оли, Коля познакомился с ней (т. е. с Зоей). Для истинности (3.1) требуется лишь, чтобы такой индивид был, чтобы он был падшей женщиной и чтобы Коля познакомился с этим индивидом. Таким образом, этот индивид оценивается как падшая женщина только тем, кто произносит (3.1) и,

соответственно, для истинности (3.1) это условие должно выполняться лишь в мире оценки всего предложения (т. е. в мире его произнесения), но не в возможных мирах, являющихся эпистемическими альтернативами Оли.

Для истинности *de dicto* прочтения (3.2), с другой стороны, не требуется ни существования конкретного индивида, ни, разумеется, того, чтобы такой индивид оценивался говорящим как-либо. (3.2) будет истинным предложением, если и только если, по мнению говорящего, Оля считает, что Коля познакомился с какой-то (той или иной, но не конкретной) падшей женщиной. Говорящий, иными словами, не приписывает Оле установку по отношению к какому-то конкретному индивиду, с которым, по ее мнению, Коля познакомился.

Но представим себе ситуацию, что есть группа людей, скажем, Зоя, Нина и Клара. Всех этих людей человек, произносящий (3), и только он, считает падшими женщинами. Оля же просто считает, что Коля мечтает о ком-то из этой группы, не имея на уме кого-то конкретно. Это прочтение, обозначим его как (3.3), явно отличается от (3.1) и (3.2), ибо, заимствуя что-то из каждого, оказывается не тождественным ни одному из них. Так, из (3.1) прочтение (3.3) заимствует то, что Оля может и не считать, что эта группа состоит из падших женщин. Из (3.2) прочтение (3.3) заимствует, что Оля не имеет в виду кого-то конкретно, с кем познакомился Коля.

Очевидно, что данное прочтение нельзя сгенерировать, манипулируя только вхождением квантора существования, как это было сделано в (1) и (2). Для того чтобы выразить неспецифичность, которая, с точки зрения говорящего, присуща Оле, квантор существования должен интерпретироваться внутри интенционального контекста. Но, чтобы выразить то, что группа людей оценивается как падшие женщины самим говорящим, а не Олей, нужен общий термин «падшая женщина» интерпретировать вне интенционального контекста. Однако классическая теория квантификации дает нам возможность выразить только (3.1) и (3.2), не позволяя выразить нужное нам прочтение (3.3).

В рамках проекта композициональной теоретико-модельной семантики естественного языка задача усложняется тем, что необходимо демонстрировать, как при прочтении (3.3) значение естественно-языкового предложения (3) последовательно конструируется из значений составляющих его элементов и способа их сочетания. Это

ставит и задачу категорематической интерпретации кванторных выражений (в нашем случае выражения «падшая женщина»). В традиции семантики Р.Монтегю такое выражение может быть выражено как $\lambda R.\exists x(x \text{ является падшей женщиной} \wedge x \text{ является } R)$, что, в свою очередь, предполагает разделение интерпретации кванторного выражения на его кванторную и дескриптивную составляющие.

Более подробно третье прочтение обсуждается в ряде отечественных и зарубежных работ последних лет⁷. Для целей данной статьи, которая посвящена четвертому прочтению сообщений о верованиях, из приведенного обсуждения третьего прочтения важно взять лишь то, что для выражения установленных Фодор новых прочтений оппозицию *de re* и *de dicto* следует заменить более сложным анализом, способным учесть все четыре прочтения, а не только два. Таким анализом со времен Фодор считается анализ в терминах не одной, а двух оппозиций: специфическое/неспецифическое (*specific/non-specific*) прочтение и прозрачное/непрозрачное (*transparent/opaque*). Специфичность/неспецифичность связана с тем, идет ли речь о конкретном или просто о некотором объекте. Эта оппозиция выражается местом вхождения квантора ($\exists x$) в логическую форму предложения. Оппозиция прозрачности/непрозрачности выражается через то, где интерпретируется дескриптивное содержание кванторного выражения: внутри интенционального контекста или вне него.

В новой терминологии стандартное прочтение *de re* будет считаться прозрачным специфичным, стандартное прочтение *de dicto* – непрозрачным и неспецифичным. Упомянутое выше третье прочтение сообщений о верованиях – прозрачным и неспецифичным, а четвертое прочтение, обсуждению которого будет посвящена оставшаяся часть статьи, соответственно, непрозрачным и специфичным.

3. Реальность четвертого прочтения как проблема

Несмотря на то, что четвертое прочтение, как мы видели выше, автоматически следует из оппозиций, в терминах которых мы стали рассматривать сообщения о верованиях, его реальность в выражениях естественного языка зачастую воспринималась исследователями неоднозначно. Четвертое прочтение не получило столь присталь-

ного рассмотрения, как третье. Данное обстоятельство может быть объяснено, во-первых, некоторыми концептуальными сложностями философского характера, которые данное прочтение, как казалось, вызывало. Также реальность этого прочтения казалась сомнительной в связи с критикой лингвистического характера.

Концептуальные сложности этого прочтения связаны с особенностями совмещения специфичности и непрозрачности в сообщении о веровании: субъект верования должен иметь свою установку относительно некоторого конкретного объекта, которого при этом не существует, с точки зрения говорящего (т. е. в мире оценки всего сообщения о веровании). Иными словами, в случае с четвертым прочтением задача заключалась в том, чтобы выразить специфическую установку субъекта при неспецифической установке самого говорящего. Иллюстративным примером здесь может послужить предложение:

(4) Андрей считает, что современный король Франции избегает встреч с философами языка.

Если говорящий не верит в то, что современный король Франции существует, с одной стороны, а Андрей при этом в полной мере специфичен, думая не просто о ком-то, кто являлся бы современным королем Франции, а имеет на уме какого-то конкретного индивида, являющегося во всех мирах, совместимых с его верованиями, современным королем Франции, то какими именно средствами можно выразить данное прочтение и существует ли оно в естественном языке?

Считается, что мы не можем рассматривать квантор \exists , ассоциирующийся с интерпретацией «современного короля Франции», как имеющий вхождение в логическую форму до интерпретации интенционального глагола, т. к. это бы обязывало говорящего к признанию существования соответствующего индивида. Интерпретация этого квантора внутри сферы действия глагола не дает однозначной возможности выразить специфичность, требующуюся для конструируемого прочтения: при такой интерпретации конструируемое прочтение будет истинным, если в каждом из миров, совместимых с верованиями Андрея, будет только один современный король Франции, о котором Андрей думает, что он избегает философов языка, хотя сам Андрей при этом будет считать, что королей в современной Франции много и какой-то один из них из-

бегают философов языка. На основании подобных рассуждений Л.Т.Ф.Гамут⁸ заключают, что для удовлетворительного анализа подобных предложений необходимо учитывать еще и интенцию субъекта пропозициональной установки (т. е. в нашем случае, по мнению Гамут, необходимо учитывать, что для истинности (4) при четвертом прочтении требуется не только то, чтобы в мирах, совместимых с верованиями субъекта пропозиции, был только один индивид, являющийся современным королем Франции, но и то, что сам субъект репрезентировал его для себя именно посредством такой же определенной дескрипции). Для выражения четвертого прочтения, по их мнению, интенциональные глаголы следует рассматривать еще и как *интенциональные*.

Аргументация лингвистического характера против существования четвертого прочтения для сообщений о верованиях сводится к указанию на то, что эти предполагаемые прочтения оказываются несинонимичными со своими же собственными парафразами, ибо последние обладают свойствами, отсутствующими у первых⁹. Так, согласно данной аргументации, парафразом четвертого прочтения для предложения

(5) Маша хочет купить недорогое пальто
будет предложение

(5.1) Существует вещь, которую Маша хочет купить. Она считает, что эта вещь – недорогое пальто.

Аргументация против четвертого прочтения для (5) осуществляется посредством указания на то, что (5), в отличие от (5.1), не может быть продолжено фразой «Однако, на самом деле, оно дорогое»:

(5') Маша хочет купить недорогое пальто. #Однако, на самом деле, оно дорогое.

(5.1') Существует вещь, которую Маша хочет купить. Она считает, что эта вещь – является недорогим пальто. Однако, на самом деле, она является весьма дорогой.

Как (вполне верно, на мой взгляд) отмечает З.Сзабо¹⁰, (5) может выглядеть сомнительным по сравнению с (5.1') по независимой причине. Конкретно: в силу того, что анафорическое местоимение «она» в (5.1') может брать в качестве своего антецедента выражение «эта вещь» из второго предложения, а не «вещь» из первого. Для местоимения «оно» в (5') такой возможности нет, что делает (5') с неизбежностью сомнительным.

В цитируемой статье Сзабо приводит примеры суммарных сообщений о верованиях (summative reports), аргументируя в пользу необходимости их анализа как примеров четвертого прочтения, ибо это – единственный способ удовлетворительного установления тех условий истинности, которыми эти предложения обладают в естественном языке.

В оставшейся части статьи я также предложу ряд аргументов в пользу реальности четвертого прочтения для предложений о верованиях. Я рассмотрю несколько примеров сообщений о верованиях, которые, согласно моей позиции, получают удовлетворительный семантический анализ, будучи рассмотренными именно как представляющие четвертое прочтение. Это будут примеры предложений типа (4), содержащие определенные дескрипции, в контекстах интерпретации, описанных в упомянутой выше книге Л.Т.Ф.Гамут, а также и иные предложения, также содержащие определенные дескрипции. Я приведу аргумент в пользу возможности удовлетворительного построения четвертого прочтения при широкой сфере действия квантора существования. Наконец, я рассмотрю случаи четвертого прочтения сообщений о веровании, содержащих имена собственные, покажу, что они представляют проблему для моего анализа, и предложу способ решения этой проблемы, опирающийся на использование инструментария лингвистической прагматики.

4. Логическая форма для четвертого прочтения

Рассмотрим еще раз предложение

(4) Андрей считает, что современный король Франции избегает встреч с философами языка.

Как было сказано выше, четвертое прочтение для (4) является специфическим непрозрачным и поэтому предполагает, что во всех мирах, совместимых с верованиями Андрея в мире говорящего, существует единственный индивид, который является современным королем Франции и избегает встреч с философами. Иными словами, Андрей имеет свое верование *о нем*. Однако в мире оценки всего предложения (4) (т. е. в мире говорящего) общий термин «современный король Франции» обозначает пустое множество.

Если квантор существования с широкой сферой действия в логической форме предложения (4) обозначает специфичность установки субъекта верования, а дескриптивное содержание обозначает непустое множество лишь в эпистемических альтернативах Андрея, то естественным анализом для (4) представляется следующий:

(4.1) Эх (Андрей считает, что x – современный король Франции и x – избегает встреч с философами языка).

Выше мы говорили, что прочтение *de re* обязывает говорящего к утверждению существования современного короля Франции, чего тот в рассматриваемой ситуации делать совершенно не хочет. Если так, то в (4.1) данная проблема не возникает, ибо дескриптивное содержание «современный король Франции» интерпретируется внутри интенционального контекста. В (4.1) мы стараемся последовательно и буквально отобразить характер специфического непрозрачного прочтения, как оно было введено нами в начале статьи: квантор и дескриптивное содержание мы интерпретируем по разные стороны границы интенционального контекста.

Все же следует признать, что в (4.1) утверждается существование чего-то и в мире говорящего, ибо квантор имеет широкую сферу действия. Однако то же самое имело место в парафразе (5.1) для предложения (5), где мы говорили: «Существует вещь, которую Маша хочет купить. Она считает, что эта вещь – является недорогим пальто». А если так, то в самой по себе широкой сфере действия для Эх проблемы не возникает. Но даже если так, то что же имеется в виду в (4.1)? Утверждение о существовании в мире говорящего объекта, такого, что в эпистемических альтернативах Андрея он является тем-то и тем-то. Нет ли здесь проблемы?

Мне представляется, что у нас есть основания полагать, что проблемы здесь нет. По крайней мере, если в нашей модели каждому возможному миру семантической оценки соответствует один и тот же домен индивидов, мы всегда можем быть уверенными, что объект, являющийся одним и тем же во всех эпистемических альтернативах Андрея, существует и в мире говорящего, хотя в нем этот объект и не является современным королем Франции. Для использования одного и того же домена сущностей для каждого возможного мира существуют основания, независимые от задач построения четвертого прочтения. Они приведены в книге

«Именование и необходимость» С.Крипке¹¹ и представлены в виде аргументов о том, что имена собственные являются жесткими десигнаторами, обозначающими одного и того же индивида во всех возможных мирах. Чтобы данное требование выполнялось, домены, соответствующие каждому возможному миру, должны быть тождественны.

5. Композициональная интерпретация при четвертом прочтении

Однако даже если предложенный способ построения логической формы для четвертого прочтения предложений о веровании корректно отображает условия истинности (4) при этом прочтении, тем не менее остается вопрос относительно композиционального построения этих условий истинности: демонстрации того, как генерируются условия истинности естественно-языкового предложения (4) из значения составляющих его элементов и способа их сочетания друг с другом.

Мы рассмотрим способ построения композициональной интерпретации на материале еще одного проблемного случая, представленного в работе К.Й.Сэбо¹². Допустим, в одной из газет опубликовано следующее сообщение: «Большой черный медведь ворвался в один из частных домов Анкориджа. ...Хозяева спали, когда залаял их ротвейлер. ...Супружеская пара слышала, что снаружи вещи с грохотом перебрасывались. В полиции сообщили, что изначально хозяева решили, что медведь был грабителем». Проблема данного примера заключается, согласно Сэбо, в том, что последнее предложение приведенного пассажа должно быть сообщением *de dicto*, т. к. хозяева не имели специфической установки относительно того, кто именно был ночным гостем, перебрасывавшим вещи во дворе, и кого именно они посчитали грабителем. Задача в связи с этой проблемой состоит в том, чтобы объяснить, как возможна подстановка слова «медведь» внутри интенционального контекста предложения

(6) Хозяева решили, что медведь был грабителем,
произносят в полиции, передавая данное сообщение о веровании хозяев дома.

Сам Сэбо описывает данную проблему следующим образом: если (6) значит то же, что и

(7) Хозяева решили, что существо, заставившее лаять ротвейлера и с грохотом перебрасывавшее вещи снаружи, было грабителем, а это подтверждается и позицией многих информантов, которых он опросил, то возникает вопрос, как это возможно, ибо (6) – это стандартное сообщение *de re*, а (7) – стандартное сообщение *de dicto*.

На мой взгляд, данная проблема не является настолько сложной, насколько это может поначалу показаться. Во-первых, потому, что сообщение о веровании в (6) вовсе не обязательно рассматривать как синонимичное с (7). Этого даже не следует делать. Ведь то обстоятельство, что в описанной ситуации хозяева дома имели *de dicto* верование (не подразумевая никакого конкретного объекта), еще не значит, что данное обстоятельство должно учитываться в сообщении (6). Как мы уже сказали выше, рассматривая экспозицию проблемы четвертого прочтения, представленную в книге Л.Т.Ф.Гамут, для таких предложений, как (4), единственность объекта верования во всех эпистемических альтернативах субъекта вполне совместима с неспецифичностью установки субъекта. Если так, то (6) следует рассматривать просто как *de dicto* сообщение, делаемое говорящим, который не стремится учитывать в полной мере ту установку, которой обладал субъект (в данном случае, хозяева). Так, услышав от хозяев дома, что они думали, что индивид у них во дворе был грабителем, полиция, зная о том, что это был медведь, сообщает, что они думали, что медведь был грабителем. Это стандартное *de re* сообщение, в котором полиция не пытается приписывать этим людям веру в том, что медведи могут быть грабителями, а просто осуществляет вывод, который формально (в терминах теории обобщенных кванторов) может быть представлен так:

(7') $\| \langle \langle \text{существо, заставившее лаять ротвейлера и с грохотом перебрасывавшее вещи снаружи} \rangle \rangle^{\|M.g.w}\| (\lambda e1 \ \| \langle \langle \text{хозяева решили, что } t_1 \text{ было грабителем} \rangle \rangle^{\|M.g.w}\|)$

(7'') $\| \langle \langle \text{существо, заставившее лаять ротвейлера и с грохотом перебрасывавшее вещи снаружи} \rangle \rangle^{\|M.g.w}\| = \| \langle \langle \text{существо, заставившее лаять ротвейлера и с грохотом перебрасывавшее вещи снаружи} \rangle \rangle^{\|M.g.w}\| = \| \langle \langle \text{медведь} \rangle \rangle^{\|M.g.w}\|$.

Следовательно,

(6') $[[[«медведь»]^{M.g.w}](\lambda e1 \text{ «хозяева решили, что } t_1 \text{ было грабителем»})^{M.g.w}]$.

Однако интерпретация (6) как (6') не представляет случая четвертого прочтения для сообщений о веровании. Хотя такой анализ возможен. Просто в описанной ситуации он представляется не вполне востребованным. Его востребованность может оказаться более наглядной, если мы продолжим приведенное выше газетное сообщение предложением (8):

(8) Им показалось, что грабитель был слишком шумным.

Такое продолжение статьи выглядит вполне реалистично, однако оно уже никак не может быть рассмотрено в виде как сообщение *de re*, ибо в мире оценки (6) вообще нет никакого релевантного грабителя. Поэтому мы не можем проанализировать (8) подобно тому, как мы проанализировали (6) как (6'). Более того, (8) нельзя выразить и как *de dicto* сообщение о веровании, ибо тогда оно не будет как-либо связано с выражением «медведь»: (8) уже гораздо сложнее продолжить фразой

(8.1) Хозяевам показалось, что медведь слишком шумел.

Поэтому для анализа (8) нужен иной способ выражения условий истинности этого предложения. И такой способ есть. Он связан с той особенностью определенных и неопределенных дескрипций, которая заключается в том, что для каждого выражения типа

(9) The S is P

(10) An S is P

истинна следующая эквивалентность:

(9') The S is P \leftrightarrow The R is (S and P);

(10') An S is P \leftrightarrow An R is (S and P),

где $[[«R»]^{M.g.w} = D(\text{omain})$, т. е. в естественном языке «R» выражается как «вещь», «объект» и т. п.

Для кванторных выражений подобная закономерность не выполняется, ибо

(11) Every S is P $\not\leftrightarrow$ Every R is (S and P),

т. к. из истинности утверждения «Все кошки серы» не следует истинность утверждения «Все объекты суть серые кошки».

Анализом для (8) будет

(8') $[[[«the R»]^{M.g.w}](\lambda e1 \text{ «хозяевам показалось, что } t_1 \text{ был грабителем и слишком шумел»})^{M.g.w}]$.

Мы получаем возможность выразить условие истинности для (8) в описанном контексте. Но (8') представляет собой ничто иное как пример описанного выше четвертого прочтения для сообщений о веровании. Его парафразом будет

(8'') Существует объект, такой, что хозяевам показалось, что он был грабителем и слишком шумел.

Если так, то мы имеем еще один случай, в котором требуется четвертое прочтение сообщений о веровании, и, более того, получаем способ композиционального построения такого прочтения, если вводим (9') и (10') в качестве правил разложения выражений с определенными и неопределенными дескрипциями в нашу систему.

6. Четвертое прочтение для предложений с именами собственными

Четвертое прочтение для предложений с определенными дескрипциями, с учетом принятых нами допущений, еще не решает все проблемы, возникающие в данной области семантического анализа. Есть основания полагать, что в естественном языке четвертое прочтение для сообщений о верованиях возможно и для предложений, где придаточное предложение содержит не определенную дескрипцию, а имя собственное. Примером такого выражения может послужить (12):

(12) Иван считает, что Цицерон – великий оратор, а Туллий – нет.

Данное предложение звучит совершенно естественно, причем его наиболее явным прочтением является не то, согласно которому Иван приписывается вера в противоречие, а то, согласно которому Иван, думая, что Цицерон и Туллий – разные люди, приписывает им противоречащие друг другу свойства. Как показал еще Куайн¹³, мы приписывали бы Ивану веру в противоречие, если бы утверждали нечто, подобное

(13) Иван считает, что Цицерон великий и не великий оратор.

Мы, однако, этого не делаем в (12).

Более того, (12) представляется тем случаем, когда в эпистемических альтернативах Ивана имена «Цицерон» и «Туллий» обозначают разные объекты. Это, однако, весьма проблематично для той аргументации, которая была построена выше, ибо она суще-

ственным образом опиралась на тождество доменов для всех возможных миров и жесткую десигнацию имен собственных. Исходя из этого, мы не можем сказать, что существуют возможные миры (будь они эпистемическими альтернативами Ивана или нет), в которых «Цицерон» и «Туллий» не обозначают одного и того же индивида. Все сказанное вкупе с содержанием (12) формирует то, что С.Крипке назвал загадкой о веровании¹⁴.

Экспликация (12) аналогично экспликации (8), действительно, не проходит. Мы не можем интерпретировать (12) как

(12') Существуют два объекта, таких, что Иван считает, что первый тождествен Цицерону и является великим оратором, а второй – Туллию и не является великим оратором,

ибо мы начинаем противоречить самим себе, т. к. исходим из того, что во всех случаях, когда речь идет о Цицероне и о Туллии, речь идет об одном и том же индивиде. У нас получается, что каждый из двух разных объектов тождествен одному и тому же объекту, что противоречит тому обстоятельству, что для нас «Цицерон» и «Туллий» обозначают одного и того же индивида во всех возможных мирах. Из построенного нами анализа, таким образом, следует, что (12) может иметь лишь то прочтение, в котором субъекту приписывается вера в противоречие. Между тем данный результат не удовлетворителен не только потому, что мы ищем иное прочтение для (12), но еще и потому, что, приписывая веру в противоречие кому-либо, мы сами впадаем в противоречие¹⁵.

Единственным выходом из данного затруднения мне представляется обращение к прагматическому инструментарию для объяснения того, как произнесение (12) может нести тот смысл, который мы стандартно ожидаем от подобных предложений. Индивид, произносящий (12), нарушает одну из максим Грайса¹⁶ (конкретно – максимуму способа выражения), произнося предложение, являющееся семантически противоречивым. Слушающий, в свою очередь, фиксирует это нарушение и, исходя из того, что его собеседник все же следует принципу кооперации, начинает изыскивать средства придания смысла произнесенному предложению (12).

Этот способ, как кажется, легко отыскивается, если слушающий начинает учитывать не только то, что непосредственно сообщает предложение, но и то, что оно имплицитно (в смысле англоязычного «convey»). Даже если значением имени собственного является только обозначаемый им индивид, то само употребление этого име-

ни при произнесении предложения демонстрирует (даже если непосредственного этого и не сообщает), что этому индивиду присуще свойство быть носителем соответствующего имени. При этом между выражениями «а» и «носитель имени «а»» существует значительная разница – первое является жестким десигнатором, а второе – нет.

Кроме того, второе выражение является так называемой метаязыковой дескрипцией. Именно метаязыковой характер этой дескрипции является причиной того, что она, как возможное значение имени собственного, может только имплицироваться прагматически, т. е. рассматриваться как имплицуемое значение лишь по факту употребления соответствующего имени собственного.

В современной философии языка существует концепция имен собственных в терминах метаязыковых определенных дескрипций, подобных той, что приведена выше. Одна такая концепция представлена в работе Е.В.Востриковой¹⁷. Согласно данной убедительно аргументированной концепции, металингвистическая определенная дескрипция является семантическим содержанием имени собственного или выражением, тождественным имени собственному, взаимозаменяемым с ним. При этом данная метаязыковая дескрипция считается жестким десигнатором, ибо содержит указание на тот мир, в котором имя собственное обозначает соответствующего индивида. Если я правильно понимаю эту концепцию, то, согласно ей, $\|«а»\|^w = \|\text{«носитель имени «а» в } w\|^w$. Это, согласно позиции сторонников подобной теории, объясняет, почему индивид может не знать, что а – это b: с каждым из имен ассоциируется своя метаязыковая определенная дескрипция, а поскольку эти дескрипции разные, то не удивительно, что зная, скажем, то-то и то-то про носителя имени «а», индивид может не подозревать этого относительно носителя имени «b».

Здесь хотелось бы сформулировать лишь один довод против этой концепции. Определенная дескрипция «носитель имени “а” в w», действительно, является жестким десигнатором, но если так, то она обозначает один и тот же объект во всех возможных мирах. То же самое относится и к метаязыковой определенной дескрипции «носитель имени “b” в w»: во всех возможных мирах она обозначает одного и того же индивида, причем, в нашем случае, того же самого, что и первая дескрипция. А если так, то не может быть возможного мира, в т. ч. и среди эпистемических альтернатив субъекта пропозициональной установки, в котором носитель имени «а»

в *w* может не быть носителем имени «b» в *w*. Значит, такой субъект не может думать, что носитель имени «a» в *w* и носитель имени «b» в *w* – разные люди. Чтобы субъект мог допустить подобное, должны существовать возможные миры, в которых носитель имени «a» в *w* и носитель имени «b» в *w* являются разными индивидами. Но это невозможно, ибо исключено допущениями самой концепции металингвистического дескриптивизма.

7. Заключение

Данная статья была посвящена исследованию так называемого четвертого прочтения для сообщений о верованиях: его структуре и представленности в естественном языке. Было показано, как четвертое прочтение формулируется в виде специфической непрозрачной интерпретации предложения о веровании. При этом было показано, что специфичность субъекта пропозициональной установки не подразумевает неспецифичности говорящего и что если специфичность выражается посредством вхождения квантора (его широкой или узкой сферы действия), то четвертое прочтение подразумевает широкую сферу действия квантора существования. Было показано, что придание квантору широкой сферы действия не подразумевает принятия говорящим существования объекта как обладающего тем или иным свойством, о котором идет речь в придаточном предложении, если дескриптивная составляющая именной группы интерпретируется внутри сферы действия интенционального глагола. Было установлено, что подобная экспликация четвертого прочтения требует того, чтобы каждому возможному миру соответствовал один и тот же домен референции.

В статье было также показано, как отстаиваемый подход к четвертому прочтению оказывается представимым в рамках композициональной теоретико-модельной семантики условий истинности для фрагмента естественного языка. Данная демонстрация была осуществлена для случаев, когда в придаточном предложении содержится определенная дескрипция. Отдельно были исследованы случаи, сходные с рассмотренными случаями четвертого прочтения, но содержащие имена собственные. Было показано, что они не могут получить удовлетворительного семантического анализа в рамках отстаиваемой концепции, но легко интерпретируются с по-

мощью аппарата лингвистической прагматики. Была представлена критика альтернативного способа экспликации семантики имен собственных в подобных контекстах, известного как металингвистический подход к семантике имен.

В итоге в статье было продемонстрировано, в чем заключается суть четвертого прочтения для сообщений о верованиях, продемонстрирована реальность этого прочтения в естественном языке и предложен способ семантического анализа таких прочтений для ряда репрезентативных случаев.

Примечания

- ¹ *Фреге Г.* О смысле и значении // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 238.
- ² Там же. С. 246.
- ³ *Фреге Г.* Исчисление понятий // *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. С. 65–142.
- ⁴ *Куайн У.* Кванторы и пропозициональные установки // Эпистемология и философия науки. 2012. № 3. С. 213–225.
- ⁵ Там же. С. 215.
- ⁶ *Fodor J.* The Linguistic Description of Opaque Contexts // Outstanding Dissertations in Linguistics. N.Y., 1979.
- ⁷ См.: *Куслий П.С.* Проблема третьего прочтения и семантика сообщений о верованиях // Философия языка и формальная семантика. М., 2013. С. 129–160 и упомянутые в этой статье источники на русском и английском языках.
- ⁸ *Gamut L.T.F.* Logic, Language, and Meaning. Vol. II. Chicago, 1991. P. 185–185.
- ⁹ Здесь я воспроизвожу эту критику с опорой на статью З.Сзабо (*Szabó Z.G.* Specific, Yet Opaque // Logic, Language and Meaning Lecture Notes in Computer Science. 2010. Vol. 6042. 2010. P. 32–41), **который воспроизводит в ней содержание других работ, где сформулирована эта критика.**
- ¹⁰ *Szabó Z.G.* Op. cit. P. 3.
- ¹¹ *Kripke S.* Naming and Necessity. Cambridge, 1980.
- ¹² *Sæbø K.J.* Lessons from Descriptive Indexicals // Semantics and Philosophy in Europe 6. URL: <http://spebconference.files.wordpress.com/2013/07/saeboe.pdf>.
- ¹³ *Куайн У.* Цит. соч.
- ¹⁴ *Kripke S.* A Puzzle About Belief // Margalit, Avishai (ed.) Meaning and Use. Dodrecht, 1979.
- ¹⁵ См. об этом, например: *Schiffer S.* Remnants of Meaning. Cambridge, 1986.
- ¹⁶ *Grice H.P.* Logic and Conversation // Studies in the Way of Words. Cambridge, 1989. P. 22–41.
- ¹⁷ *Вострикова Е.В.* Интенциональность с точки зрения философии языка // Вестн. Томск. ун-та. 2011. № 2.

А.В. Мигла

Значение и понимание литературного текста

Anastasia Migla. The problems of reference and understanding of fictional terms

В статье рассматриваются проблемы значения и понимания литературного текста. В первой части статьи автор анализирует две основные точки зрения, касающиеся значения вымышленных имен – реалистскую и антиреалистскую. Во второй части статьи разбираются вопросы об истине в художественном произведении и о том, из каких компонентов складывается понимание художественного текста.

Ключевые слова: вымысел, истина, значение, понимание, интерпретация, «пустые» имена, несуществующие объекты, возможные миры

The paper concerns problems of reference and understanding of fictional terms. In the first part of the article the author analyses two main conceptions of fictional names reference – realism and irrealism. The second part of the paper deals with two issues: what kind of content we can understand in fictional text and what can be considered as truth in fiction.

Keywords: fiction, truth, reference, understanding, interpretation, «empty names», non-existent objects, possible worlds

В художественных произведениях мы встречаемся со словами и предложениями естественного языка. Эти слова и предложения описывают людей и предметы, положения дел, события и ситуации. По форме они ничем не отличаются от предложений, которые используются для описания людей, предметов и положений дел, имеющих или имевших место в настоящем или прошлом.

Между тем все мы знаем, что то, о чем говорится в предложениях литературного текста, не существует и никогда не существовало в действительности (даже когда речь идет о произведении, основанном на реальных событиях, автор никогда не претендует на абсолютную точность своего описания этих событий). Все, о чем повествуется в произведении, является предметом художественного вымысла.

В связи с этим возникает ряд интересных вопросов. Во-первых, что в таком случае описывают слова и предложения литературного текста, на что они могут указывать? Что именно мы понимаем в художественном тексте, если он не имеет отношения к реальности, и что значит «понять литературное произведение»?

В данной статье будут представлены некоторые точки зрения и размышления об этих вопросах.

1. Значение терминов и предложений литературного произведения

Вопрос о том, что обозначают имена и предложения литературного произведения, является нетривиальным вопросом для семантики¹. Словам и предложениям литературного текста не соответствует ничего в действительности, а значит, с позиции классической концепции истинности такие предложения не могут оцениваться как истинные. Между тем признать эти предложения ложными было бы также неверно, поскольку мы их понимаем, и они сообщают нам некоторую информацию.

В связи с этим почти все современные исследователи проблемы значения предложений литературного текста выбрали срединный путь: они солидарны в том, что большая часть предложений о вымысле не может считаться истинной в буквальном смысле. Практически все исследователи полагают, что большая часть таких предложений будет истинной только в рамках контекста произведения или возможного мира, в котором реализовано все, о чем говорится в произведении. При этом небольшая часть философов считает возможным выделить высказывания о вымысле, которые выходят за контекст литературного произведения и в связи с этим могут считаться истинными или ложными в буквальном смысле.

Гораздо меньшее единство мнений наблюдается в отношении референции имен вымышленных объектов. Здесь можно выделить две наиболее общих противостоящих друг другу позиции: согласно первой, вымышленные имена ничего не обозначают, а согласно второй – они обозначают некоторые объекты. Рассмотрим, каким образом понимается референция имен и истинность предложений о вымысле в рамках названных подходов.

1.1. Вымышленные имена ничего не обозначают

Одним из первых подходов, согласно которому вымышленные имена ничего не обозначают, а предложения с ними оказываются ложными, стала теория дескрипций Б. Рассела². Посредством своей теории дескрипций Рассел хотел очистить язык от псевдоимен и от противоречивых высказываний с этими именами.

Основная идея Рассела заключается в том, что высказывания с так называемыми «пустыми» именами, т. е. именами, не имеющими референтов, нарушают законы логики. С его точки зрения, подобные языковые выражения не являются подлинными обозначающими выражениями и их можно считать сокращенной дескрипцией. Задача логического анализа языка состоит в том, чтобы развернуть эту дескрипцию и превратить выражение в последовательность предикатов, посредством чего необходимость обозначения языковым выражением предмета устраняется. В анализе Рассела высказывание: «Нынешний король Франции лыс» будет выглядеть следующим образом «Существует x такой, что x является нынешним королем Франции и x является лысым». Здесь, как мы видим, выражение: «нынешний король Франции» не обозначает предмет, а является предикатом, поэтому отсутствует нежелательное соотношение имени с предметом. Ввиду наличия конъюнкта, утверждающего существование объекта, высказывания с «пустыми» именами всегда будут ложными. Получается, что вне зависимости от содержания утверждения оно будет всегда оцениваться как ложное.

Подход Рассела оказался слишком радикальным: абсолютно все высказывания с «пустыми» именами оказывались в его рамках ложными. Альтернативой ему стал контекстный подход, в котором высказывания рассматривались как контекстно зависимые: они могли интерпретироваться как буквально ложные, но истинные относительно определенного контекста.

Суть данного подхода заключается в том, что содержание исходного предложения релятивизируется относительно определенного контекста. Например, можно перефразировать предложение: «Шерлок Холмс был сыщиком», заменив его на: «Согласно рассказам К.Дойла, Шерлок Холмс был сыщиком». Второе предложение не отсылает нас к онтологии вымышленных объектов и сообщает ту же самую информацию, что и первое. В таком случае референция и истинность предложения будет релятивизироваться относительно указанного контекста, в то время как в буквальном смысле предложение может трактоваться как ложное или лишенное истинностного значения.

Однако интерпретация при помощи соотнесения с контекстом оказывается неудачной для предложений, выходящих за пределы таких контекстов. Например, рассмотрим предложение «Шерлок Холмс – один из самых известных литературных персонажей 20-го в.». В данном случае мы не можем интерпретировать предложение в рамках какого бы то ни было вымышленного контекста, поскольку свойство «быть одним из самых известных вымышленных персонажей» в рассматриваемом предложении не приписывалось Холмсу в рассказах Конан Дойла. Мы можем говорить об обладании таким свойством лишь вне контекста рассказов о Холмсе.

Ввиду этих и других соображений рядом философов было предложено использовать прагматические инструменты при интерпретации высказываний о вымышленных объектах. В рамках таких подходов содержание имен вымышленных героев и предложений с этими именами переносилось в область прагматики языка и не рассматривалось с точки зрения семантики.

Одним из таких подходов является использование пресуппозиций для анализа предложений вымышленного текста. В самом общем виде пресуппозиция представляет собой подразумеваемое содержание, которое считается само собой разумеющимся при произнесении того или иного высказывания. Прагматическая пресуппозиция не является семантическим компонентом предложения, а представляет собой суждение или допущение, которое должно быть известно слушающему, чтобы высказывание было корректным в данном контексте. Поскольку такой тип пресуппозиций не имеет отношения к семантике, их ложность не делает

высказывание аномальным, а суждение, выражающее прагматическую пресуппозицию, представляет собой неутверждаемое суждение с нейтральным денотативным статусом.

Ярким примером использования такого подхода является предложенная Р.М.Сэинсбери³ интерпретация высказываний о вымысле. Философ утверждает, что мы можем высказывать утверждения о вымышленных героях, принимая допущение об их существовании для целей коммуникации, однако при этом не считая это допущение истинным. Тогда высказывания о вымысле могут рассматриваться как относительно истинные: в том случае, если бы пресуппозиция существования соответствующих объектов оказалась истинной. Философ предлагает использовать данный подход как для внутренних высказываний о вымысле, так и для внешних. Например, высказывание «Шерлок Холмс – один из самых известных литературных персонажей XX в.» можно рассматривать в рамках пресуппозиции – но не пресуппозиции существования Холмса, а в рамках пресуппозиции, что существует устойчивый вымышленный объект – Холмс. Тогда предложение будет ложным в буквальном смысле, но истинным в рамках принимаемого допущения.

С этим подходом сближается концепция языковой игры читателя и автора, используемая многими философами для объяснения функционирования имен вымышленных объектов.

Суть этого подхода заключается в том, что утверждения, присутствующие в художественном произведении, рассматриваются как часть некоей языковой игры, участниками которой являются автор и читатели. Автор словно делает вид (*pretend*), что нечто обстоит тем или иным образом, а читатели, в свою очередь, делают вид, что допускают данное положение дел. Это позволяет давать истинностную оценку предложениям с вымышленными именами в рамках языковой игры, «притворства», а не в буквальном смысле, что в свою очередь, дает возможность избежать введения онтологии несуществующих объектов. Соответственно, референция и истинность высказываний о вымысле релятивизируется относительно действия языковой игры.

Границы «притворства» в языковой игре каждой философ устанавливает по-своему. Согласно точке зрения Дж.Серла⁴, автор художественного произведения «притворяется утверждающим нечто, хотя на самом деле он ничего не утверждает». Таким образом,

все утверждения в тексте являются мнимыми утверждениями. Г.Эванс полагает, что притворными являются не сами утверждения, а объекты и положения дел, о которых говорится в этих утверждениях. Утверждая что-то об этих объектах, мы лишь делаем вид, что существуют некоторые предметы, описанные автором, в действительности же этих объектов не существует, они реальны лишь в пределах языковой игры. Внешние высказывания о вымысле объясняются посредством «притворной» референции вымышленного имени.

По мнению философов-реалистов, антиреалистские стратегии не позволяли в полной мере отразить, каким образом используются вымышленные имена. Их контраргумент состоял в том, что по крайней мере в некоторых контекстах, например, когда идет речь о внешних высказываниях о вымысле, может осуществляться реальная референция и предложения о вымысле могут оцениваться как истинные в буквальном смысле. Помимо этого, ряд философов-реалистов полагал, что несуществующие объекты играют важную роль в нашей культуре и повседневной жизни, поэтому допущение таких объектов – естественная позиция, вытекающая из здравого смысла. Рассмотрим основные концепции философов-реалистов.

1.2. Вымышленные имена обозначают объекты

Реалистская точка зрения представлена двумя подходами – подходом, опирающимся на семантику возможных миров, а также теориями несуществующих предметов.

Основная идея первого подхода состоит в том, что имена вымышленных объектов обозначают объекты в возможных мирах, в которых полностью реализованы события, ситуации и предметы, описываемые в произведениях. Соответственно, эти объекты обладают своими свойствами только в рамках соответствующих миров, а предложения с их именами могут быть истинными только относительно возможного, но не актуального мира. Различные философы по-разному трактуют сущность и природу возможных миров, используемых для репрезентации вымышленных объектов. Согласно модальному реализму, наиболее ярким представителем которого является Д.Льюис, возможные миры материальны, кон-

кретны и принадлежат к той же онтологической категории, что и наш актуальный мир. При этом они не связаны пространственно-временными и каузальными отношениями друг с другом.

Модальный реализм Льюиса⁵ позволяет представить вымышленные объекты так, как они описываются в соответствующих художественных произведениях – как реальные, конкретные предметы из плоти и крови, населяющие такие же реальные, но неактуальные возможные миры. То, что они являются неактуальными, объясняет их отсутствие в нашем мире, а их реальность согласовывается с тем описанием, которое им дается в вымышленных произведениях, где они описываются как реальные люди, взаимодействующие с такими же людьми в реальном мире.

Иначе понимается природа возможных миров в концепции Г.Приста⁶. В отличие от позиции Д.Льюиса, возможные и невозможные миры, населяемые вымышленными объектами, трактуются Пристом как несуществующие объекты. В то же время миры, рассматриваемые как объекты, обладают своими логическими свойствами во всех мирах, в том числе и в актуальном мире.

Согласно Присту, предметы, являющиеся денотатами вымышленных имен, существуют в различных возможных или невозможных мирах, но не существуют в актуальном мире. Критерием существования объекта и способом его задания (в возможном или невозможном мире), согласно Присту, выступает ментальная репрезентация автора литературного произведения. В этом смысле в возможных мирах могут существовать абсолютно любые объекты, которые только можно помыслить: не только непротиворечивые, но и невозможные, с взаимоисключающими характеристиками. Последняя категория объектов будет населять невозможные миры.

Как и Льюис, так и Прист сходятся в допущении о том, что возможные миры должны быть полными. Соответственно, нет единственного мира вымысла, отображаемого каждым конкретным вымышленным текстом. Вымышленные тексты всегда остаются неполными в том смысле, что в них фиксируются далеко не все характеристики вымышленных объектов; каким бы подробным ни было описание героя, оно не может охватить все его характеристики. Всегда остаются такие свойства героя, относительно которых не известно ничего в принципе. Поэтому в концепциях философов одному вымышленному тексту будет соответствовать целое мно-

жество возможных миров, в каждом из которых реализуется то или иное возможное свойство объекта, о котором ничего не сказано в тексте. Например, историям о Шерлоке Холмсе будет соответствовать множество возможных миров, в некоторых из них у него будет четное количество волос на голове, в других – нечетное и т. д.

Еще один подход, согласно которому вымышленные имена имеют референты, предполагает допущение несуществующих объектов наряду с другими объектами актуального мира. На вопрос о природе этих объектов сторонники данной позиции не дают исчерпывающего ответа. Несуществующие объекты могут пониматься как абстрактные (Э.Залта)⁷ и как не существующие, но имеющиеся в мире сущности (Т.Парсонс)⁸. Однако ввиду того, что несуществующие объекты допускаются как объекты нашего мира и высказывания о них не могут релятивизироваться относительно контекста или возможного мира, встает вопрос, в каком смысле вымышленные объекты могут обладать свойствами, предполагающими материальную природу, например, «иметь желтый цвет», «быть выше 190 см» и т. п. Одно из решений, предложенное Т.Парсонсом, состоит в разделении на нуклеарные и экстрануклеарные свойства. Нуклеарные свойства – это «внутренние» свойства, посредством которых мы характеризуем и опознаем объект. Например, Ш.Холмс имеет свойства быть сыщиком, курить трубку, золотая гора является золотой и т. д. Вторая группа свойств является «внешней» – она задает то, в каком онтологическом отношении объект состоит к этому миру и к другим мирам, его логические и интенциональные свойства. Эти свойства Парсонс называет экстрануклеарными. Только экстрануклеарные свойства, считает Парсонс, могут указывать на онтологический статус объекта. То есть высказывание «Шерлок Холмс курит трубку» не предполагает, что объект, о котором говорится в высказывании, реально существует. Имея нуклеарное свойство «курить трубку», он может обладать как экстрануклеарным свойством существования, так и не существования. Т.Парсонс полагает, что вымышленные объекты обладают своими нуклеарными свойствами в буквальном смысле, однако предложения о вымышленных героях чаще всего употребляются нами как соотносящиеся с определенным контекстом, т. е. их истинность, как правило, является относительной.

Решая ту же самую проблему, Э.Залта предложил выделить два способа предикации – кодирование и экземплифицирование. Экземплификация обозначает такой способ предикации, когда объект обладает приписываемым свойством в буквальном смысле, являя собой и своей природой это свойство, а кодирование – способ предикации, при котором объект обладает свойством не в буквальном смысле, а лишь характеризуется этим свойством, но не может являть его своей природой. Разделение на кодирование и экземплифицирование позволяет нам оценивать истинность высказывания в соответствии со способом предикации, которое в нем использовано. С точки зрения Залты, внутренние высказывания о вымысле, такие как «Шерлок Холмс курит трубку», будут истинными не буквально, но лишь в пределах вымышленного текста. В рамках вымышленного текста Ш.Холмс будет экземплифицировать свои характеристические свойства. Однако предложения, выходящие за рамки вымышленного контекста, такие как высказывания литературной критики, сравнения героев различных произведений и т. п., могут быть истинными в буквальном смысле. В этих высказываниях Шерлок Холмс будет обладать своими свойствами в смысле кодирования.

Как реалистские, так и антиреалистские стратегии в отношении употребления вымышленных имен имеют свои сильные и слабые стороны. Реалистские концепции претендуют на универсальность объяснения употребления этих имен и близость реалистской трактовки к практике их употребления в естественном языке. Антиреалистским стратегиям, с другой стороны, удастся избежать нетривиального вопроса о сущности и онтологической природе несуществующих объектов, на который реалисты не могут дать более или менее удовлетворительного ответа. Дискуссии относительно значения вымышленных имен активно продолжают по сей день.

Во всех этих дискуссиях важным элементом выступает некий эквивалент смысла вымышленного имени. В реалистских стратегиях это содержание задает объект, в антиреалистских – выступает в качестве некоего подразумеваемого содержания, которое в данной коммуникационной ситуации принимается за истину. Можно сказать, что как реалистские, так и антиреалистские точки зрения солидарны в том, что именно это содержание в литературном про-

изведении мы понимаем. Однако то, что мы фактически понимаем при чтении литературного произведения, выходит далеко за пределы того, что там непосредственно сказано. Часть информации, которая передается в художественном произведении, содержится в нем имплицитно. Рассмотрим более подробно вопрос о том, что именно входит в наше понимание художественного произведения.

2. Понимание литературного произведения

По всей видимости, первое необходимое условие для понимания художественного произведения состоит в осознании того, что мы имеем дело с литературным текстом. Представить четкие критерии опознавания художественного произведения, в силу его природы, невозможно. Однако можно выделить один яркий отличительный признак литературного произведения, который фиксируется читателем при знакомстве с текстом – то, что описываемые события являются вымышленными и не претендуют на соответствие действительности.

Мы понимаем это, во-первых, по форме повествования, которая апеллирует к эмоциональному восприятию фактов. Обращение к чувствам и эмоциям читателя является характерной отличительной чертой художественных произведений. Можно возразить, что эта черта также может быть присуща гуманитарным научным текстам. Однако литературные произведения отличаются от них детальным описанием некоторых подробностей, мыслей и чувств героев, которые не могут быть известны стороннему наблюдателю событий. Например, историки, описывая реальные события, апеллируют в первую очередь к датам и фактам, установленным в письменных источниках. Они могут обсуждать мотивы и стремления действующих субъектов, но в исторических текстах никогда не будут описываться мельчайшие подробности событий, происходящих с героями, их мысли и элементы внутреннего диалога, которые часто становятся предметом внимания в литературном произведении. Представляется, что по этим двум признакам мы можем судить о том, что текст является вымышленным. Разумеется, эти черты могут выступать лишь примерными ориентирами, а не точными критериями формы литературного произведения.

Итак, первая компонента понимания художественного произведения – это понимание того, что перед нами художественный вымысел, т. е. понимание формы литературного произведения. Второй компонентой является понимание содержания произведения, т. е. того, что сказано в произведении. Попытаемся ответить на вопрос, что входит в наше понимание содержания вымышленного произведения.

Для этого воспользуемся примером А.Л.Никифорова⁹, который он приводит для иллюстрации мысли о том, что могут существовать различные, порою диаметрально противоположные понимания или прочтения одного и того же художественного текста. Для иллюстрации этой идеи А.Л.Никифоров приводит в пример две постановки шекспировской драмы «Отелло». Если в постановке Тбилисского театра им. Ш.Руставели, отмечает Никифоров, Отелло предстает перед нами в образе воина и философа, борца за справедливость, который становится жертвой собственной доверчивости и благородства, то в лондонском театре «Олд-Вик» Отелло оказывается не жертвой, а носителем зла, убивающим Дездемону. Действительно ли можно сказать, что в данном случае речь идет о различном *понимании* содержания исходного текста Шекспира?

На мой взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, что можно считать истинным в рамках художественного произведения, т. е. какую именно информацию мы будем интерпретировать в процессе его понимания. Вслед за этим необходимо выявить, будет ли информация, передаваемая в интерпретации – постановке или экранизации художественного произведения – включать в себя только те элементы, которые также входят в состав того, что считается истинным, согласно художественному произведению.

Автор художественного произведения задает в его тексте характеристики героев, окружающих их предметов, событий и ситуаций. Характеристики некоторых героев прописаны подробно и тщательно, автор скрупулезно описывает их внешность и внутренний мир, анализирует их мысли и поступки. Качествам второстепенных персонажей уделяется гораздо меньше внимания. Рисуя их портреты, автор может ограничиться лишь беглыми штрихами, а то и вовсе лишь несколько раз упомянуть их имена. Однако абсолютно любое, даже самое подробнейшее описание вымышленного героя не способно охватить все его возможные характеристики. В этом заключается такая характерная особенность вымышленных

объектов, как их принципиальная *неполнота*. Неполнота вымышленного объекта означает, что в любом художественном произведении для любого вымышленного объекта найдутся такие свойства, про которые ничего не сказано в тексте. Например, может быть не сказано, есть ли у героя родинка на правой щеке или нет, может быть неизвестно число волос на его голове, не указан его рост, цвет его обуви, марка его часов и количество стрелок на них и т. п. С логической точки зрения это влечет за собой тот факт, что предложения с именами вымышленных героев нарушают принцип исключенного третьего, согласно которому относительно любого утверждения, верно либо оно само, либо его отрицание, т. е. имеет место либо А, либо не-А. Ведь мы не можем выбрать, какое предложение из пары «У Шерлока Холмса более 100 тысяч волос на голове» и «Неверно, что у Шерлока Холмса более 100 тысяч волос на голове» является истинным, а какое – ложным.

В связи с этим и существует такой простор для различных интерпретаций художественного произведения, в каждой из которых уточнение того или иного неопределенного в тексте свойства может привести к принципиальным изменениям в образе и характере персонажа, как это и произошло в приведенном Александром Леонидовичем примере двух различных постановок шекспировского «Отелло». Воспринимаемые при помощи органов чувств характеристики героя: интонация, темп речи, внешний облик и жесты, которые часто и неизбежно остаются неопределенными в тексте художественного произведения, будучи визуализированными и воплощенными в конкретном актере, могут существенно изменить образ, вплоть до почти диаметрально противоположных.

На мой взгляд, едва ли мы можем говорить в таких случаях о разном *понимании* одного и того же текста. Если в литературном произведении отсутствует какая бы то ни было информация об этих конкретных особенностях, которые затем домысливаются режиссером при постановке спектакля или фильма, значит, текст не сообщает нам эту информацию и, соответственно, мы не можем сказать, что понимание этих особенностей входит в наше *понимание* литературного произведения. Данные характеристики могут дополняться каждым постановщиком и режиссером совершенно произвольно (при условии согласованности с текстом произведения), т. к. они неопределенны в принципе и то или иное их уточ-

нение не является предпочтительным по отношению к другому. Таким образом, достраивание индивидуальных характеристик героев в постановке или фильме является нашей *интерпретацией* или *видением* произведения, а не его *пониманием*.

В то же время неверно было бы предположить, что истинным, согласно вымышленному произведению, будет только то, что непосредственно сказано в тексте. Если, например, в тексте упоминается шури́н героя, то из этого следует, что герой женат. И эта информация в действительности передана в тексте, хотя этого не говорится напрямую. Таким образом, можно сделать вывод, что утверждения, следующие из текста произведения, также входят в круг истинных утверждений в рамках этого текста. Помимо утверждений, непосредственно следующих из текста, истинными относительно данного текста можно считать утверждения, которые не высказаны напрямую, но предполагаются в художественном тексте. Например, если в произведении упоминается слово «кайзер», это означает, что действие рассказа происходит в Германии (при условии, что в тексте не сказано обратное). В большинстве случаев можно считать, что в художественном произведении, если не сказано обратное, предполагается, что физические законы, исторические события, предшествовавшие действию рассказа, география земного шара не отличаются от имеющих место в реальности. Например, читая «Войну и мир», мы предполагаем, и, по всей видимости, это входит в круг того, что может считаться истинным, согласно роману, что у Андрея Болконского две руки и пара глаз, хоть об этом и не сказано напрямую. Однако стоит признать, что провести границу между тем, что неявно предполагается в тексте и является произвольным уточнением не упомянутых в тексте характеристик, в некоторых ситуациях может оказаться затруднительным.

Итак, подытожим. То, что считается истинным, согласно художественному произведению, состоит из трех компонентов: того, что непосредственно сказано в нем, что следует из сказанного, но не сформулировано явно, а также того, что неявным образом предполагается в произведении.

Путаница, существующая между *пониманием* текста и его *интерпретацией*, может привести философа к парадоксальным следствиям. В частности, с такими проблемами сталкивается концепция истины в вымысле философа и логика Д.Льюиса, которую он развивает в своей статье «Истина в вымысле»¹⁰.

Отмечая, что часть информации, напрямую не высказанная в вымышленном тексте, тем не менее в нем подразумевается, философ пытается установить границы этого подразумеваемого содержания. Для интерпретации описываемых в тексте произведений положений дел он использует модель возможного мира, о которой уже упоминалось выше. Повторимся, что в возможном мире, ввиду его необходимой полноты, оказываются реализованными все возможные свойства вымышленных объектов, о которых автор не упоминает в тексте.

Первоначальное допущение Д.Льюиса, что истинным, согласно вымышленному произведению, является то, что истинно в таких возможных мирах, в которых реализовано все, что описано в том или ином вымышленном тексте, приводит его к неоднозначным следствиям. Ввиду того, что из рассматриваемых возможных миров устраняется наш мир (для исключения случайного совпадения с объектами нашего мира), а также рассматриваемое множество миров ограничивается теми мирами, которые отличаются от нашего мира в как можно меньшей степени, которой достаточно для того, чтобы в этом мире были реализованы события определенного вымышленного произведения, мы получаем, что истинным в рамках вымысла оказывается почти все, что имеет место в нашем современном мире и не противоречит тексту произведения. Осознавая эти затруднения, Д.Льюис предлагает видоизменить второе ограничение, налагаемое на рассматриваемые возможные миры. А именно, стоит рассматривать такие миры, в которых реализованы те ситуации и события, которые считались реальными фактами сообществом, включающим автора и его аудиторию на момент написания произведения, если бы история рассказывалась не как вымысел, а как имеющая место в действительности. Второй подход, на первый взгляд, является более удачным. Однако сообщество может быть убеждено в каких-то фактах, которые не имеют отношения к истории, или в истинности некоторых положений, которые на самом деле ложны. Все эти положения в рамках данного подхода окажутся истинными, согласно вымышленному тексту, что также противоречит интуиции. Мы вновь получаем, что при таком подходе истиной в рамках вымысла может оказаться почти все что угодно. Помимо этого, т. к. в различных возможных мирах реализованы различные качества и свойства героев, окружающих

предметов и событий, о которых ничего не сказано в тексте, мы получим, что согласно тексту вымышленного произведения, истинными окажутся прямо противоречащие друг другу утверждения. Например, одинаково истинным, согласно художественному произведению, могут оказаться утверждения, что у героя есть сестра и нет сестры, что он имеет рост выше и ниже 180 см и т. д.

Модель возможного мира оказывается удачной для логико-семантического представления возможных интерпретаций текста художественного произведения, в частности, при его постановке в театре или экранизации. Действительно, как и в случае с постановкой спектакля или фильма по тому или иному литературному произведению, в возможных мирах, ввиду того, что они конкретны и материальны, а значит, по определению являются полными, реализованы все возможные свойства вымышленных объектов, о которых ничего не сказано в тексте. Каждой отдельной интерпретации будет соответствовать возможный мир, в котором реализованы герои и события этой интерпретации. Неудача модели возможного мира в объяснении того, что является истинным в рамках литературного произведения, показывает, что эта концепция едва ли может использоваться для семантической интерпретации непосредственно вымышленного произведения.

Можно ли сказать, что наше понимание литературного произведения ограничивается понимаем его формы и содержания? Как отмечает И. Барвелл, литературное произведение имеет две основные функции: описание того, что произошло, и объяснение того, почему это является значимым¹¹. В последнем случае речь идет об идее произведения – еще одной составляющей информации, которая транслируется в произведении. Вопрос о том, является ли понимание идеи необходимым для понимания произведения в целом, представляется непростым. Во-первых, в силу многообразия механизмов передачи идеи. Идея может быть выражена в тексте как прямым образом – в диалогах героев или словах автора, так и завуалированным, косвенным образом – посредством образов, метафор, скрытых смыслов слов и ситуаций. Например, в романах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского идея произведения, как правило, предельно ясно выражена в диалогах героев и в авторских отступлениях, и читатель ясно видит, кто из героев транслирует позицию автора.

Примерами противоположного характера могут служить романы и рассказы Ф.Кafka, полные скрытых смыслов, метафор и указаний. Во-вторых, часто оказывается невозможным прийти к однозначному толкованию идеи произведения, ввиду того, что многозначность, многослойность посылов, идей и интерпретаций целенаправленно допускается многими современными авторами. Однако стоит признать, что в том случае, когда идея произведения относительно явно проиллюстрирована в тексте, понимание произведения будет включать в себя и понимание идеи. Ведь в последнем случае без понимания посыла произведения, исходной мысли и цели автора нельзя считать, что произведение в действительности понято.

Итак, мы получаем, что понимание художественного текста будет включать в себя, во-первых, понимание того, что перед нами художественное произведение – т. е. его формы, во-вторых, понимание содержания произведения – той информации, которая передана в художественном произведении, т. е. считается истинной, согласно его тексту, а также, в-третьих, понимание его идеи при условии ее наличия в произведении. Разумеется, понимание последних двух элементов может различаться в зависимости от субъективных элементов смысла, вкладываемых отдельным индивидом в те или иные языковые выражения, присутствующие в тексте. Однако оно будет различаться в пределах разброса интерпретаций смысла входящих в состав текста утверждений и тех утверждений, которые из него следуют и неявным образом предполагаются. В связи с этим представляется возможным спорить об адекватном понимании того, что сказано в тексте художественного произведения и предполагается в нем, но нельзя найти верного ответа, какая из интерпретаций произведения является верной и совпадает с точкой зрения автора.

Примечания

- ¹ Слова «обозначение», «значение» используются как синоним понятия «референция».
- ² *Russel B. On denoting // Mind. 1905. № 56. Vol. 14. P. 479–493; Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999.*
- ³ *Sainsbury R.M. Fiction and fictionalism. N.Y., 2010.*

- 4 *Searle J.* The Logical Status of Fictional Discourse // *New Literary History*. 1975. № 6(2). P. 319–332.
- 5 *Lewis D.* Truth in Fiction // *American Philosophical Quarterly*. 1978. № 15. P. 37–46.
- 6 *Priest G.* Towards non-being: the logic and metaphysics of intentionality. Oxford, 2005.
- 7 *Zalta E.* The Theory of Abstract Objects. <http://mally.stanford.edu/theory.html> (дата обращения: 14.08.2013).
- 8 *Parsons T.* Nonexistent Objects. New Haven, 1980.
- 9 См.: *Нукифоров А.Л.* Виды значения и понимания. Наст. Изд., стр. ?
- 10 *Lewis D.* Truth in Fiction // *American Philosophical Quarterly*. 1978. № 15. P. 37–46.
- 11 *Barwell I.* Understanding Narratives and Narrative Understanding // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. Special Issue: The Poetics, Aesthetics, and Philosophy of Narrative. 2009. Vol. 67. № 1. P. 49–59.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фридрих Шлейермахер

Об отношении научного объединения к государству

Глава из книги «Идея немецкого университета»*

Можно исходить из почти всеобщей предпосылки, что люди обладают не только разного рода сведениями, но и некоторой наукой. Охота за ней, страстное стремление к ней проявляют себя повсеместно: даже среди тех, кто ведет свое дело большей частью согласно стародавним обычаям и апеллирует к предшественникам; но в этом нет никакого смысла, если бы не было заложено здесь некоторое смутное ощущение того, что предшественники, занимаясь тем, чем и мы, опирались не столько на чистое право обычая, но на некоторое более высокое основание. Как и те, кто способствует дальнейшему продвижению тех или иных людских дел, опираясь на силу чистого инстинкта, призывают других непременно объяснять свое поведение и понятно его обосновывать. Все это указывает на науку.

То, однако, что это не может быть делом отдельного человека, приводиться к завершению и полностью вменяться только ему *одному*, но должно воплотиться в общем труде, где каждый вносит свой собственный вклад, так чтобы каждый в своем намерении зависел бы от всех остальных и мог единолично обладать лишь выделенной – при явной ее неполноценности – долей, – все это, безусловно и повсеместно, тоже должно проявляться в своей очевидности. И настолько точно все это сопрягается и проникает друг в друга в сфере знания, что можно было бы сказать: чем больше желаний изобразает

* *Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst. Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn. Berlin, 1808.*

зять нечто исключительно ради него одного, тем более непонятным и запутанным оно выглядит, ибо, строго говоря, все отдельное лишь в его сопряженности со всем прочим полностью доступно созерцанию, и поэтому образование каждой части зависит также и от образования всех остальных. Это необходимое и внутренней единство всей науки ощущается повсеместно там, где проявляются определенные стремления такого рода. Все научные усилия тяготеют друг к другу и сходятся к *одному*, и вряд ли найдется на каком-нибудь ином поле человеческих деяний столь широкая общность, столь непрерывно воспроизводящееся предание о первых началах, нежели на поле науки. Правда, и здесь распределяются и разнообразным образом разделяются человеческие усилия, и иногда то тут, тот там даже подвергаясь насильственному и произвольному разрыву. И то, что подлежит научному рассмотрению, у различных народов одной и той же эпохи чрезвычайно часто весьма незначительно связано друг с другом; но еще больше отделены друг от друга целые эпохи. От того, однако, кто этот предмет рассматривает в его целостности и здесь в таком поступательно развивающемся устремлении постепенно сводит воедино все разбеденное, не ускользнет главенствующая сила внутреннего единства.

И то, что какой-то человек науки способен жить отдельно от других, в уединении лишь своих собственных трудов и предприятий, является в этой связи лишь пустой видимостью. Напротив, первый закон всякого, направленного на познание устремления состоит в сообщении; сама природа во всей отчетливости воплотила этот закон в невозможности производить что-либо научно лишь для себя одного и вне языка. Поэтому исключительно из влечения к познанию, там, где оно действительно пробудилось, все связи, необходимые для его целесообразного удовлетворения, должны, словно сами собой, способствовать разнообразнейшим формам сообщений и общности всех занятий; и было бы заблуждением полагать, что все такого рода учреждения, как это теперь представляют, могли бы быть лишь делом государства. Никто не может указать на то, откуда возьмется у него способность собирать воедино первоначально чрезвычайно рассеянное знание. Лишь там должны все образовательные учреждения иметь своим источником государство, где совершенно грубый еще народ управляется и организуется малой и образованной его частью, которая пока еще

лишь стремится пробудить в нем это влечение к познанию. Стоит лишь посмотреть на то, как уже в лоне семьи, словно сами собой, образуются элементы обучения и общности этих знаний; и на то, насколько в целом сомнительны все более значимые специальные меры, возникают ли они сами собой, принимаются ли они государством или церковью. Разве не вытекает из всего этого, что мы, ради того, чтобы оставаться верными природе вещей, должны рассматривать все эти учреждения как нечто первоначальное, как возникающее из свободной склонности, из внутреннего влечения?

Но, конечно, чем активнее они формируются, тем больше требуется им средств поддержки, инструментов самого разного рода, полномочий для принадлежащих научному союзу, среди которых – и право контактировать с другими на законной основе. Всего это, конечно, можно испрашивать только у государства, и поэтому к нему обращено требование, признавать в качестве морального лица, терпеть и оберегать тех, кто объединился, как мы выражаемся, ради целей науки. Это ожидание несколько не выглядит чужеродным для немецких народностей и законодательств, ведь мы постоянно видим, что в этой среде для самых разных целей возникает и бытует множество свободных союзов, которые – пока они находятся вне подозрений, которые указывали бы на их противоправность, разрушительность для государства, и вызывали бы их преследования, – государство не только терпит, но и признает за ними и разного рода прерогативы, как это и должно приличествовать лицам коллективным, которые ведь более значимы, нежели лица отдельные.

Но как это многократно случается и с другими союзами, государство, убедившись в их полезности, постепенно настолько присваивает их и вбирает в себя, что через некоторое время уже и нельзя различить, возникли ли они свободно и сами по себе или же были учреждены управляющими властями, – и как раз это-то, как мы видели, и происходит с союзами научными; но ведь каждый – если бы только не столь явно пережитый нами опыт! – мог бы засомневаться, действительно ли, при явной связанности всех научных устремлений одной и той же образованной эпохи, те из них, что возникли внутри некоторого государства, добровольно бы пожелали отделиться от всех остальных, и, напротив, пожелали бы столь жестко соединиться с государством, которое им собственно чуждо. И, правда,

нет недостатка в столь же бросающемся в глаза противодействии научного союза подобной чрезмерно жесткой связи. Это, видимо, и есть истинный и естественный порядок вещей.

Для всех научных занятий, образующихся в области *одного* языка, характерно естественное близкое сродство, в силу которого они сопряжены друг с другом теснее, нежели с какими-нибудь другими, и поэтому-то и образуют свое собственное, некоторым образом замкнутое целое в пределах некоторого более значимого целого. Ибо то, что производится научно и изображается *одним* языком, причастно особой природе этого языка; и то, что самым непосредственным образом не относится к опытам и процедурам, необходимо тождественным и универсальным, как, например, в области математики или экспериментального естествознания, — не может с такой же точностью переноситься в некоторый другой язык, и поэтому в силу этой связанности с языком образует внутри себя некоторую однородную целостность. Для ученых, правда, сохраняет свою необходимость задача нового снятия разделения между различными областями, преодоления языковых барьеров и сравнительного соотнесения друг с другом того, что посредством этих барьеров, казалось, было разъединено; задача, в которой научное рассмотрение языков, возможно, обнаруживает свою высшую цель. Лишь эта задача, очевидно, является высочайшей для всего научного сообщества и, возможно, никогда не будет выполнена, но именно благодаря этому еще больше утверждается неизбежность его обособления. Если же мыслить научные объединения как возникающие — на всех этапах — из свободного влечения к познанию, то, прежде всего, становятся заметны их стремления объединяться настолько, насколько это позволяет область *одного и того же* языка. Это и есть самый тесный союз, а всякая выходящая за его пределы общность является лишь некоторой другой, более широкой.

Государству же представляется также очевидным, что всякие знания и даже науки суть нечто целительное и превосходное. И каким бы большим или малым ни было это государство, справедливо бы или несправедливо оно при этом ни поступало, оно всегда желает принадлежать самому себе: и как таковое оно может существовать лишь благодаря массивам сведений, которые по возможности сводятся в тотальность, по крайней мере, настолько, чтобы через живое чувство, потребность и благожелательное восприятие в

нем бы оставался некоторый след от всех ветвей знания, некоторое осознание, хотя все-таки в силу своеобразности такого воплощения лишь немного из всего этого достигнет расцвета. По меньшей мере, благопристойная и благородная жизнь, если она не связывает с неизменно ограниченными умениями в области познания еще и некоторый всеобщий смысл, приносит государству столь же мало, сколь и отдельному человеку. Применительно ко всем приобретенным сведениям, как государство, так и отдельный человек, естественным и необходимым образом исходит из предпосылки, состоящей в том, что они должны основываться на науке и лишь благодаря ей могут преумножаться и уточняться. Поэтому государство пытается встроить себя в некоторую живую взаимосвязь со всеми устремлениями, которые и приводят к такому усовершенствованию; оно вбирает в себя такие учреждения, которые оно само и должно было бы учредить, если бы прежде оно уже не обнаружила бы их; и поскольку научный союз тоже имеет потребность в получении защиты и покровительства со стороны государства, то и проявляют они обоюдное стремление к взаимопониманию и взаимному объединению. Государство, однако же, трудится лишь ради себя, оно, как это показывает история, первоначально проявляет чрезвычайно эгоистичным, а следовательно, и ту поддержку, которую оно предоставляет науке, желает сосредоточить внутри своих границ. Если же государство полностью наполняет собою область своего языка, то и более тесное научное сообщество уже не стремится вырваться за его границы; и так объединение между ними обоими осуществляется безо всякого раздора, быстрее или медленнее, смотря по тому, является ли живым или же еще недостаточно осознанным убеждение обеих частей в том, как они нуждаются друг в друге и какое содействие способны они друг другу оказать. Если же государство не заполняет всецело область своего языка, то и оно, и научный союз связывают различный интерес со скрепляющим их объединением. Мужики науки желают использовать государство и его поддержку лишь для того, чтобы с гораздо большей эффективностью достигать своих целей в более обширной языковой области. Они не согласны признавать более узкие границы государства своими собственными; и хотя за его поддержку вынуждены оказывать государству известные услуги, рассматривают их как нечто второстепенное. Правительства же, напротив, испытывают друг к другу тем большую ревность, чем

ближе они друг к другу расположены, и опасаются от широкоустремленных научных связей безразличия к данному государству, а то и предпочтений, оказываемых чужим учреждениям, и иных вредных для духа подданных влияний; и поэтому делают все возможное для того, чтобы удерживать более тесный союз ученых в границах государства. И наоборот, если государство охватывало бы собою область нескольких языков, тотчас пригласило бы оно всех ученых со всей территории для тесного объединения и образования некоторого целого. Ученые же, очевидно, разделились бы на две партии, и каждый язык стал бы пытаться отвоевать благосклонность властителя, выражаемую по отношению к какому-то другому языку, а искреннее братство создавалось бы лишь среди тех, кто говорил бы на *одном* языке. О том, что является неестественным, если некоторое государство стремится увеличиться, выходя за границы языка, утверждал недавно даже один великий государь, так что приходится только поражаться тому, насколько неотложной является данная необходимость, если она смогла привлечь даже такое ясное сознание, как его. Вопрос о том, является ли столь же неестественным, если область одного и того же языка распадается на столь многие малые государства, как это претерпевает Германия, мы оставляем открытым. По меньшей мере, представляется желательным, если они сохраняют имеющиеся связи, и неразумным, если каждое из них захотело бы владеть своими научными учреждения замкнуто – лишь ради себя самого. Ибо лишь внешним и вынужденным будет образование последними некоторого целого, каковое выгладит тем комичнее, чем меньше государство, если это целое захочет полностью само себя формировать; согласно природе вещей эти научные учреждения всегда будут представлять лишь части более обширного союза, и чем больше стремятся они обособиться, тем большего благотворного влияния остальных частей они оказываются при этом лишены, а одновременно с ним – питания и здоровья. И действительно, пожалуй, ничего нет более удивительного и более далекого от требований общего блага, нежели то, когда какое-то немецкое государство обособляется вместе со своими научными образовательными учреждениями. Напротив, нигде более глубоко не проявляется сообщество, в котором должны состоять такие государства, кроме как в научных делах; и если естественное направление окажется таким, что и государства эти соберутся в *единство* подобному тому, как и

язык становится все более *единым*, то в чем бы могло состоять более легкое, надежное и естественное предуготовливающее средство, как ни в научной области, которая пребывает в таком равном взаимодействии как государством, так и с языком, что могло бы послужить началом для учреждения самого многостороннего, самого верного и лишенного всякой зависти сообщества, благодаря которому яснее всего проявилось бы внутреннее единство внешним образом разделенного? И посредством чего же должно быть, наконец, ясно и беспристрастно решено, сколько еще продлится это обособление и как далеко оно может заходить, как ни посредством по возможности самого широкого научного образования, несущего с собой благоразумие, не позволяющего ослепить себя никаким отдельным интересом и постепенно искоряющего мелочные страсти и предрассудки?

И все-таки мало кто из наших отечественных правительств удержался от совершения всевозможных ошибок в этом направлении; но вместо того, чтобы каждое из них холило бы и лелеяло у себя все, что только возможно, и повсеместно бы правительство и народ наслаждалось бы и пользовались сообща, радостно и гордо всем тем, что образуется где-то в пределах немецкого отечества, — верх берут, чем дальше, тем больше, две противоположные этому меры. Так, некоторые правительства состязаются друг с другом в том, чтобы все подвластные им образовательные учреждения превратить в сосредоточие всех научных сношений по всей Германии, озаботившись тем, как бы прельстить к себе все отмеченное наукой, пусть даже это и обеднит другие государства. Если бы только это было подлинное состязание, и не отставали бы даже от того, что было бы совсем несложно осуществить! Если при этом проявлялась бы добрая воля к сотрудничеству с меньшими государствами, не способными к великим свершениям, к поддержке их учреждений и совместному вознаграждению их талантов, не было бы тогда и серьезных возражений. Но первое их намерение проявляется как раз в том, что в удовлетворении своих научных потребностей всякое государство желает обособиться от всякого другого, между тем как подлинной независимости здесь можно достичь лишь в том случае, если каждое из них пропорционально и в полной мере вносит свой вклад в сохранение и умножение общественного блага, все остальное же есть лишь надменное и порочное бахвальство. Ведь и через духовное превосходство жаждут

стяжать государству больше мощи и уважения за пределами его собственной области. И пусть это есть самый мирный и прекрасный вид завоевания, все-таки и оно с легкостью подвергает науку той опасности, когда одни лишь деньги прельщают ученого мужа. И если эти завоевания проводятся несоразмерно естественной значимости государства или в мелочном стиле, то выглядит это все потешно и болезненно. Другая мера – это те преграды для науки, что возводятся правительствами для ограничения или прекращения научных сношений с заграницей и препятствования их гражданам – в том виде, как им желательно, – участвовать в научных предприятиях соседних государств. И если происходит это в государствах, находящихся под властью церкви, что до недавнего времени имело место в большей части католической Германии, то это, к несчастью, еще раз доказывает их мрачное состояние. Если же на возведение такой преграды решается государство незначительное и окруженное более могущественными соседями, ощущающее, что следует напрячь все силы и употребить все средства к возможно долгому утверждению своей независимости от прочих, – то лишь достойны сожаления столь великие просчеты в столь похвальных намерениях, ибо духовная ограниченность, следующая из этого обособления, никогда не сможет ни укрепить, ни преумножить независимость. Если же, однако, даже и могущественное государство, с успехом осуществляющее такого рода завоевание, никак не удовлетворяется уже достигнутыми свершениями в данном предмете, пока не заполнит недостающее, и в свою очередь учреждает преграды, то это есть очевидное проявление надменности, нелиберальности, низкой и алчной экономии, бросающее сомнительный свет на стремления к таким завоеваниям и более чем что-либо другое заставляющее всех образованных людей нации ненавидеть подобное правительство!

Однако и еще в одном существенном пункте государство, вбирая в себя научные учреждения, усваивает совершенно иную точку зрения на то, как их направлять и упорядочивать, нежели ученые мужи, которые более тесно объединены друг с другом вокруг целей самой науки. Обе части, безусловно, были бы едины в том, что государство должно узаконить требования древнего мудреца в их в их подлинном духе, пусть и не первое из них – о том, что знающие должны властвовать, но второе – о том, что властвующие должны познавать. Государственные мужи, также и те из них, кто больше

других способствует благоденствию общества, видятся себе самим и другим скорее похожими на людей искусства, нежели на тех, кто научно подходит к делу: руководя государством, праведно карая, нащупывая справедливое, порождают они неосознанное и придают ему облик умелой рукой по укорененному в них прообразу, как всякий художник – по своему. Это можно легко понять и искренне превозносить, вот и властвуют они не как знающие.

Но то, что это художественное чувство в наибольшей и точнейшей степени и разовьется у тех, кто-либо сам умеет научно рассматривать факты и опыт, или, по меньшей мере, использует их в изложениях тех, кто поставил это себе своей конечной целью;

и то, что государственному мужу, как и всякому, кому в рождении им чего-то художественного приходится ради своих искусств непосредственно или опосредованно черпать и из сокровищницы науки, и он, безусловно, со своей стороны, в свою очередь обогащает себя через свои труды;

и то, что подлинные улучшения во всех отраслях государственного управления могут проводиться и развиваться с большей надежностью, если властвующие и, насколько это возможно, подвластные правильно понимают как подлинную идею государства вообще, так и идею этого конкретного государства, и способны применить их с осознанием примеров одного и того же по всей области истории;

и то, что, следовательно, поистине любыми способами следует знать, в каких случаях имеет место хорошее управление,

– все это надлежит признавать хотя бы потому, что опыт показывает, что если в какой-либо области отдаляются от этого понимания, в ней либо возникает состояние смятения и анархии, – как среди прочих царств в бывшей Польше, которая при обладании большим объемом сведений почти не имела наук, – либо утверждается кастовый порядок, скудная эмпирия, жестко и боязливо приковывающая себя к традиции, в очевидной несоразмерности со всеми остальными лучше управляемыми и поэтому поступательно развивающимися отраслями. Однако именно это как раз чаще всего и отказываются признавать, но напротив ненавидят и страшатся того влияния, которое наука стремится оказывать на государство. Государство в этом случае естественным образом озабочено лишь непосредственным использованием сведений и в этом убеждено. Оно старается благо-

приятствовать пространному ознакомлению с фактами, явлениями и успехами всякого рода и, вбирая в себя научные учреждения, на это их преимущественно направлять. Напротив же, тем, кто свободно объединился ради целей науки, важно нечто совершенно иное, а не только одни лишь массивы сведений. То, что их объединяет, есть сознание необходимого единства всякого знания, о законах и условиях его возникновения, о его форме и проявлении, благодаря чему собственно и превращается в знание всякое восприятие и всякая мысль. И больше всего пытаются они пробудить и распространить именно это сознание, исключительно благодаря которому во всех сведениях и во всяком их преумножении возможно получить истину и достоверность. Поэтому, обладая лишь незначительной суммой сведений, трудятся они с прицелом на то, чтобы придавать им этот научный характер. Там, где опыту дано лишь скуднейшее о предмете, вовлекают они его в область науки, выискивают единство в том, из чего постигается все многообразное, стремятся усматривать целое во всяком отдельном, и всякое отдельное, в свою очередь, — лишь в рамках целого. Так, и всякого человека, образовывать которого пытаются они в подобном же духе, но лишь в незначительной степени этим вооруженного, подводят они к главному пункту научного единства и формы, обучают его видеть этим способом и отпускают его лишь после того, как укоренят в нем способность более глубокого всматривания в отдельное, ибо надлежит ему познавать все в более строгом смысле, а всякое иное накопление отдельных сведений было бы только лишенным достоверности блужданием на одном месте, мимолетная ценность которого состояла бы лишь в некотором улучшении управления. Государство же, напротив, с легкостью ошибается в значении этого устремления, и чем громче эта спекуляция, — так мы всегда будем называть то, что, основываясь на преимущественно научном рассмотрении, соотносится лишь с единством и общностной формой всякого знания, — и чем звучнее она себя проявляет, тем интенсивнее стремится государство ее ограничить и употребить все свое влияние, как благоприятствующее, так и препятствующее, к тому, чтобы способствовать поиску лишь реальных сведений, накоплению всего действительно выявленного, даже и вне всякого отношения к тому, несет ли оно на себя отпечаток науки или нет, к тому, чтобы придать этому видимость единственно подлинных плодов всех восходящих к познанию устремлений.

Научный союз должен неизменно стремиться к этому курсу, и его более благородные члены жаждут, по возможности, трудиться ради независимости от государства – отчасти выводя их объединение из-под власти и установлений государства, отчасти пытаясь усилить свое влияние на него. Там, где это возможно, прививают они государству более достойный и более научный тип мышления; там же, где это невозможно, там стараются они, чем дольше, тем больше утвердить по отношению к себе уважение и доверие. Однако, чем крепче вплетены научно-образованные люди в ткань государства – настолько, что политическое у них перевешивает научное, не доходящее до его ясного осознания, тем скорее покоряются они этим политическому вмешательству; и чем теснее привязываются обе эти части друг к другу, тем сильнее изолируется эта часть некоторого более широкого национального научного союза от всех остальных, более твердо придерживающихся своеобразности собственных принципов, и низводится до употребления в качестве чисто государственного учреждения. Преимущественно там, где государство уже сплотило совокупную область языка в *одно* целое и приобрело, следовательно, большую мощь и блеск, это сражение обычно заканчивается не в пользу науки. Если же возникает желание признать некоторые преимущества и за состоянием противоположным, то, безусловно, ничуть немаловажно и то, что государство хотя бы в этом отношении предоставляет науке большую свободу, пусть даже и исключительно ради самоукрашения при ее помощи.

Нам придется чаще возвращаться к тому, что лишь бегло намечено в этом изложении; ибо, упуская из виду эти выдающиеся моменты взаимодействия государства и науки, нет возможности постичь и судьбу внешних отношений последней или решить известную задачу прокладки путей установления надлежащей пропорции между государством и наукой. По крайней мере, можно будет понять, почему государство обычно обходится с университетами именно так, как мы это видим, и почему последние так сильно жаждут независимости от него и как благоприятнейшее рассматривают состояние, когда государство в наименьшей степени вмешивается в их управление. Но сначала следует посмотреть на то, какое место занимают университеты в научном союзе и какая деятельность является для них наиболее предпочтительной.

2. О школах, университетах и академиях

Под академиями понимается здесь то, что называют учеными обществами самого разного рода, а также та связь, в которую им надлежит вступать друг с другом и в которую они, конечно, внутренне уже вступили. Под школами же мы мыслим здесь лишь те, которые, по меньшей мере, могут быть рассмотрены как непосредственно возникшие из потребности и влечения к познанию, то есть лишь такие ученые школы, которыми обязательно руководят исключительно научно-образованные люди и в которых преподаются сведения, непосредственно принадлежащие научной области.

Итак, это и есть те три главные формы, в которые принимают теперь все объединения, созданные для производства науки. Правда, в последнее время в Европе их можно встретить повсюду, но, пожалуй, именно Германию можно рассматривать как сосредоточие образования, поскольку в других странах отдельные формы, в особенности школы и академии, хотя и приобрели большое значение, тем не менее нигде, кроме как у нас, все три из них не сопутствуют друг другу в столь чистом виде. Можно было бы, пожалуй, сказать, что весь этот раскрывающийся здесь тип является изначально немецким, и точно следует за формированием остальных, рожденных в Германии отношений: школы как сотрудничества мастера и его ученика, университета с его учащимися и академий как собраний мастеров между собой. И все же большинству из тех, кто пропитан глубочайшим презрением ко всякому цеховому устройству, все это истолкование – в том числе и того, что еще только предстоит описать, – покажется темным, хотя научные учреждения вовсе не умаляет данное сопоставление с этими разнородными формами, в основании которых ведь все-таки лежит и столь многое прекрасное. Итак, лучше будем рассматривать эти три объединения – школу, университет и академию – каждое по отдельности, и зададимся вопросом о том, что представляет собой каждое и как они между собой взаимосвязаны. Ибо, не поняв всех трех, вряд ли удастся достичь единства в вопросе о сущности и целесообразном учреждении какого-то одного.

Наука, как она существует в виде общего дела и владения целого множества образованных народов, должна давать образование конкретному человеку; конкретному же человеку на его собствен-

ном участке, в свою очередь, надлежит содействовать дальнейшему образованию науки. И то, и другое суть учреждения, к которым восходит всякое общественное деяние в этой сфере. Легко увидеть, как первое из них получает полное преобладание в школе, а второе, напротив, – в академии. Школы поэтому имеют полностью гимнастический характер – упражнения сил – и по праву носят это чужое для них название¹. Они примут юношу лучшей природы и в выдающейся степени одаренного, внушающего предположения о его возможной восприимчивости к науке или, по меньшей мере, о его полезных способностях перерабатывать массивы сведений, и всеми способами постараются испытать, действительно ли он таков. Но двояким образом должно проявиться то, способен ли некоторый человек к такому более высокому образованию: с одной стороны, определенный талант, приковывающий его к конкретному полю познания, и всеобщее чувство единства и пронизывающей связи всякого знания, с другой, образуют систематически-философский дух. И то, и другое должно соединиться, если стремится человек к образованию в себе чего-то выдающегося. Ведь и очевиднейший талант не получит вне этого духа никакой самостоятельности и не сможет далее процветать, а превратится в искусный орган восприятия других, тех, кто обладает этим научным принципом. И систематический дух, лишенный определенного таланта, способен лишь вращаться со своими продуктами по некоторому весьма тесному кругу, и в удивительных перегибах, повторях и преобразованиях постоянно черпать из одного и того же высшего всеобщего, ибо тогда он был бы мастером без материала.

Но это не препятствует тому, что при объединении обоих составляющих у одних бы преобладал талант, тогда как у других – всеобщий научный дух. Где, однако, и то, и другое не наличествуют в превосходнейшей степени, необходимой для их полного пробуждения и прояснения, там проявляется большая или меньшая нужда в намеренно вносимом их возбуждении, в их искусственном возделывании. Итак, школа должна воздействовать на то и другое. С одной стороны, на элементарном уровне она должна показывать целостное содержание знания в его важных общих чертах, так чтобы всякий дремлющий талант мог почувствовать влечение к своему предмету, с другой же стороны, ей следует выделять и

¹ Скорее всего, подразумеваются гимназии. – примеч. пер.

рассматривать с самым усердным прилежанием в особенности то, в чем прежде и яснее всего может быть усмотрена форма единства и взаимосвязи науки, как и то, что на том же самом основании одновременно являет собой всеобщее вспомогательное средство для всякого остального знания. По этой причине грамматика и математика являются главными школьными предметами, и я бы сказал: единственными, преподавание которых может вестись с отголоском научности. Вместе с тем, однако, и школа должна с методичностью так упражнять все духовные силы, чтобы они приняли определенные очертания и ясно показали их различные функции, и должна настолько укрепить эти силы, чтобы каждая из них была способна с легкостью в полной мере овладевать некоторым данным ей предметом. Воздействовать на это, объединяя эти силы простейшими и надежнейшими операциями, и есть задача школ. Безусловно, ни одна из них, даже и при наилучшем устройстве и руководстве, не сможет достичь во всем равного совершенства, но каждая завоевывает больших преимуществ либо в одной, либо в другой из этих частей. И тем более необходимо никогда не упускать из виду эту общую цель – с тем, чтобы каждая школа на пути к соответствующей ей виртуозности была бы способна охранить себя от порочной односторонности; и тем настоятельнее потребность в высшем всеобщем управлении, чтобы каждое такое учреждение в полной мере приносило бы пользу для научной области, которую оно только способно предложить.

В академии, напротив, мастера науки объединяют свои усилия; и пусть и не все могут быть ее членами на одинаковый манер, но каждый, по меньшей мере, должен ею репрезентироваться, и среди членов и остальных ученых мужей с достойными именем складывается настолько живительная взаимосвязь, что труды академии действительно могут рассматриваться как их общее произведение. Каждому должен стремиться к тому, чтобы принадлежать этой взаимосвязи, ибо тот талант, который кто-то образовывает в себе самом, был бы все-таки ничем для науки без добавления остальных. Поэтому и образуют все они некоторое целое, ибо ощущают себя как одно благодаря живому чувству и ревностному служению делу науки вообще, а также благодаря пониманию необходимой связанности всех частей науки; но именно поэтому и вновь разъединяются они на различные подразделения, ведь каж-

дая ветвь знания нуждается и в некотором еще более тесном объединении для его основательной и целесообразной переработки. Чем тоньше и многообразнее это разветвление и чем живительнее при этом единство целого, не утерьявшее себя в некоторой форме, так что во всяком отдельном сопричастности прогрессу целого и усердие к своему особому предмету взаимно подкрепляет друг друга и следовательно, легче всего поддерживается теснейшая общность между различными частями науки в лоне Академии, – тем совершение учреждения целого.

Как много академий должна иметь Германия в соответствии с этой идеей? Одну, в крайнем случае две: одну северную и одну южную, которые, однако, должны пребывать в теснейшей связи друг с другом и повсеместно пускать дочерние отростки – отчасти там, куда естественным образом стекаются ученые мужи всякого рода, отчасти там, где место оказалось превосходно подходящим для некоторой особенной научной области. Пока такого объединения, к которому все стремится по самой природе вещей, еще не произошло, наши раздробленные ученые общества могут рассматриваться лишь как обломки, и лишь через оживленнейшие сношения друг с другом способны сохранить до указанного момента, который, возможно, уже не так далек, такое свое состояние.

С этим воззрением на школы и академии согласуется и система работы этих учреждений. Путем публичных экзаменов школы объявляют конкурсы, имеющие исключительно гимнастический характер, и могут лишь показать, насколько интеллектуальные силы натренированы для работы со знанием. Заниматься литературным производством как таковым, однако, им вовсе не подобает, ибо не должно публиковаться ничто из того, что не оказывает содействия продвижению науки. Поэтому в программах или проспектах их директоров неизменно усматривают несоответствие – и в тех случаях, когда они вообще не заслуживает того, чтобы их составлять, или в тех случаях, когда уделяется в них внимание, прежде всего тому, что для публикации никак не подходит. Поэтому во многих отношениях превосходным знаком школы является то, что таковая продукция изготавливается вовсе не ею. Напротив, именно от каждой академии требуется порождать труды, причем не огромные и охватывающие целое или даже революционные книги, но собрания сочинений, освящающие отдельные, еще не исследованные

предметы, излагающие собственные открытия, раскрывающие и проверяющие только что изобретенные методы. Ибо именно делом академии является содействие наукам, уже достигшим известной степени обширности и достоверности путем многочисленных небольших исследований; и чем больше содержательности и взаимосогласованности показывают они в своих трудах, тем большие заслуги им приписывают. В том же смысле требуется от академии в решениях задач обращаться за помощью к тем, кто не принадлежит ее центру: частью в таких отдельных случаях, когда не может быть произведено достаточно опытов, или же тогда, когда требуются исследования, невозможные в каком-то произвольном месте, — и поэтому действительные ее члены справедливо исключаются из участия в конкурсах, — частью же для того, чтобы выяснить, кто из еще не принадлежащих ей серьезно и успешно занимается научными предметами в отдельных областях, чтобы тем самым время от времени включать достойных товарищей в свои ряды.

Но что же есть тогда университет — меж ними двоими, школой и академией? Можно было бы предположить, что обе последних без остатка охватывают все научные учреждения, и университеты оказываются среди них совершенно лишними. Так, конечно же, судят многие из нас — но вряд ли в подлинно немецком духе; ведь этот взгляд господствует в некотором другом народе, который — чем больше он консолидировался в себе самом, тем больше из него уходило то, что выглядело подобно университету, и ничего не осталось кроме бесконечного числа школ и академий в их разнообразнейших формах. Но только при этом очевидно не замечают один весьма существенный пункт. В школе получают лишь сведения как таковые; школы лишь предваряют пробуждение взглядов на природу познания вообще, научный дух, способности к открытиям и собственным комбинациям, но все это не входит в само школьное образование. Академии, однако, должны предполагать наличие всего этого у своих членов; лишь исходя из центрального основания некоторой общности и благодаря его осознанию желают они развивать науку — об этом говорит вся их организация, даже если она и не находит повода заявлять об этом в явной форме; но ведь и это может осуществляться лишь некоторым взаимосогласованным образом. Какими же пустыми должны были бы быть труды академии, если она всякий раз обращалась бы к одной лишь

эмпирии и не задумывалась бы о принципах в каждой науке! Насколько же пустой была бы сама мысль о совместном содействии развитию всех наук, если бы, в свою очередь, эти принципы не были бы взаимосогласованы и не образовывали бы *единого* целого! И насколько жалкими были бы рассуждения, если бы не было единства среди членов академии по поводу всех этих принципов. Итак, очевидной предпосылкой является то, что каждый член академии находит взаимопонимание между ним и остальными по поводу философских принципов его науки, каждый исследует свой предмет в философском духе, и именно этот последний – во всех предметах равный себе – дух в брачном союзе со всяким отдельным своеобразным талантом только и делает его подлинным членом объединения. Должен ли этот дух нисходить на человека внезапно как сон? Должна ли научная жизнь возникать из ничего, отличаясь в этом от всего остального, возникающего через его порождение другим? Почему лишь она одна в своих первых нежных выражениях не должна нуждаться в какой-либо заботе и каком-либо воспитании? Здесь-то и кроется сущность университета. Ему-то и вменяются эти порождение и воспитание, и этим образует он переходный пункт от этапа, в котором через передачу сведений и собственно учебе молодежь возделывают для науки, к этапу, когда человек в расцвете сил и полноте научной жизни отныне сам проводит исследования, расширяет и приукрашает область познания. Университет, следовательно, преимущественно имеет дело с введением в некоторый процесс, с надзором над его первыми ступенями развития. Но ведь это, не больше, не меньше, – есть совершенно новый процесс духовной жизни. Пробудить идею науки в некоторых более благородных юношах, уже вооруженных разного рода сведениями, помочь ей овладеть ими именно в той области познания, которой он хотел бы посвятить себя с особым рвением, так что для него становится естественным рассматривать все и вся с научной точки зрения, усматривать во всяком отдельном не только его само, но и его ближайшие научные отношения, внося его в великую связь в неизменном отнесении к единству и всеобщности познания, с тем чтобы научились они в любом размышлении осознать и основоположения науки, и именно благодаря этому постепенно вырабатывать в себе саму данную способность исследования, открытия и изложения, – вот в чем состоит дело университета.

На это указывает и его собственное название, ибо именно здесь собираются не просто многие – пусть разнообразные и более высокие – сведения, но должна быть представлена целостность познания благодаря тому, что принципы и равным образом структура всякого знания наглядно представлялись бы таким способом, чтобы из этого возникала способность обращать свои усилия во всякую область знания. Именно этим объясняется то короткое время, которое каждый затрачивает на университет в сравнении со школой; речь не о том, что для изучения не всего, а части требуется меньше времени, а о том, что научиться учиться можно быстрее; ведь собственно проводимое в университете время есть лишь *один* момент, *один* акт, который как раз и пробуждает идею познания, высшее сознание разума как руководящий принцип человека. На это указывают все те особенности, которые университет отличают, с одной стороны, от школы, с другой – от академии. В школе по закону наименьшего сопротивления переходят от чего-то одного отдельного к другому и мало озабочены тем, осуществляет ли каждый еще и нечто всеобщее. В университете, напротив, все очень пекутся о том, чтобы в каждой области как необходимейшее продвигалось бы энциклопедическое, всеобщее рассмотрение той или иной сферы и взаимосвязи, и становилось бы основанием всего преподавания. И главные труды университета как такового суть учебники, компендиумы, конечная цель которых состоит не в исчерпании и обогащении науки по отдельности, – где при отборе не получают предпочтение ни легчайшее, ни труднейшее или редчайшее, – а в служении более высокому воззрению, в систематическом изложении, где выделяется именно то, что понятнее всего представляет идею целого, и то, благодаря чему всякая сфера и внутренняя связь получают наибольшую наглядность. Далее, в академиях наибольшее значение имеет то, что отдельное разрабатывается с максимальной точностью и является правильным в области всех реальных наук; напротив, чистая философия, спекуляция, обращение с единством и связью всех видов познания и природой самого познания полностью отступают на второй план. Но, конечно, это не являются чем-то незначимым для реального знания, или даже самим по себе негодным и ничтожным. Ведь сколько ни утверждай обратное, всякое отдельное знание неизменно покоится на таком всеобщем; без спекулятивного духа не существует и по-

рождающей науку способности, и все это настолько взаимозависимо, что тот, кто не образовал в себе никакого определенного философского типа мышления, не породит самостоятельно и ничего дельного и самобытного в области науки, но всегда – осознанно или неосознанно, даже и там, где открытия вызваны его удивительным инстинктом, – будет зависеть от некоторого спекулятивного направления разума, который со всей очевидностью проявляется, возможно, лишь в других. Кроме того, всякий философский тип мышления, как он выражен в языке, в методе, в способе изложения, присутствует во всяком научном произведении. Но именно потому и отступает здесь философия на второй план, что если развитию наук должна оказываться общая поддержка, то все чисто философское уже должно быть приведено к истинному состоянию, так чтобы уже почти и нечего было больше об этом сказать. Правда, эта предпосылка, кажется, до сих пор не была до конца обоснована никем из нас, и, пожалуй, не слишком бы много мы и уступили, если бы признали, что подобное полное единение и удовлетворение от предметов философии никогда не может быть доведено до завершенности даже и в рамках *одного* народа, если он действительно серьезно этим озабочен, но осуществляются лишь через поступательное приближение и согласование. Однако всякая академия делает необходимой такую предпосылку, по меньшей мере настолько, насколько для нее становится естественным рассматривать как самое главное то, что в данном отношении уже свершилось, а то, что еще осталось совершить, – как менее значимое. Академия может включать в себя спекулятивное подразделение лишь в том смысле и тогда, когда оно – при условии наличия в рамках *одного* народа лишь *одного* философского типа мышления – выражает единственность того, что в различные эпохи проявлялось различным образом; высвечивает противостоящие друг другу дифференции одной и той же эпохи, что весьма свойственно философии и все же оказывается аргументом против философии, и обнажает всю их слабость; короче говоря, тогда, когда посредством исторического и критического исследования того, что уже наличествует в этой области, способствует вышеуказанному приближению и самопониманию нации. Но все-таки, видимо, академии не приличествует производить самой и самой прокладывать новые пути в собственно философской области. И напротив, является

общепризнанным, что в университете изучение философии есть основание всей его деятельности; и поскольку именно эти высшие воззрения преимущественно и должны там преподаваться, причем самым индивидуальным образом, то и излагать их следует в их отличности от всего того однородного, что существует наряду с ними, – и поэтому именно в университетах и между ними имеют место те философские разногласия, на основании которых чаще всего и образуются философские школы.

Итак, университет – в реализации его главной цели – есть нечто совершенно самобытное, по своей сущности равным образом отличное и от школы, и от академии; и лишь внешне – что означает не случайно, но в том смысле, что для всего внутреннего необходимо существует и внешнее, – внешне и столь же необходимо имеет университет и нечто схожее с обеими; ведь в противном случае существовали бы удивительные разрывы в научной жизни отдельных людей. Научный дух как высший принцип, непосредственное единство всего познания не могут освещаться и раскрываться лишь сами по себе, – скажем, как в чистой трансцендентальной философии, призрачным образом, – что многие, увы, уже пытались осуществить, породив привидения и зловещие сущности. Невозможно и вообразить более пустого мышления, чем философия, которая обнажает себя до такой чистоты и ожидает, что реальное знание – как некое более низкое, возникнет и будет получено где-то еще; и не было бы, пожалуй, ничего более бесплодного для науки, чем занимать молодежь в их прекраснейшие годы философией, которая не давала бы никакого определенного руководства для будущей научной жизни во всех ее предметах, но в лучшем случае служила бы для прочищения головы, что обычно восхваляют уже применительно к простой математике. Но лишь в ее живом влиянии на всякое знание, лишь в самой своей плоти, которая и есть, одновременно, реальное знание, философия дает возможность постичь и изложить себя и этот ее дух. Поэтому в университете преподаются и сведения – отчасти, более высокие, а также иные, которые никак не могут входить в школьный план. Отсюда происходит и доучивание, а университет, одновременно, оказывается и последней школой (*Nachschule*). Но в то же время является он и предакадемией (*Vorakademie*). Научный дух, пробужденный философским преподаванием, укрепившийся и про-

ясненный благодаря новому восприятию из некоторой более высокой позиции уже изученного прежде, должен согласно своей природе тотчас начать испытания и упражнения своих сил – тем, что исходя из такого срединного положения все глубже внедрялся бы в отдельное, чтобы исследовать, соединять, порождать собственное и, обосновывая его правильность, на деле доказывать достигнутое понимание природы и связь всякого знания. В этом и состоит смысл научных семинаров и практических занятий в университете, которые несут в себе целиком академическую природу. Поэтому оба этих названия вновь обыгрываются применительно к университету, называемому часто и высшей школой и академией. Поэтому непониманием было бы утверждение о том, что университеты-де не должны иметь такого рода учреждений, принадлежащих будто бы исключительно академиям.

И, как это вытекает из наблюдения его основных черт, в существенной части данное отношение трех различных учреждений, видимо, служит общей цели; и действительно, при их удачном устройстве и правильном взаимопроникновении – таком, где бы ничего бы не отсутствовало, – эта цель будут полностью достижимой. Однако тем бесплоднее является положение, где они не распознают свою область и свои границы. Бесплодным является и то положение, когда школы берут на себя слишком много и заигрывают с философским преподаванием ради создания обманчивого впечатления, будто сущностное различие между ними и университетами есть лишь пустая видимость. Ведь ничего так не портит воспитанников для будущей университетской и вообще для научной жизни, как их побуждение к тому, чтобы эту высшую науку, которая есть лишь дух и жизнь и которая лишь в самой малой степени может формироваться внешним образом, рассматривать как некую сумму отдельных предложений и данных, которые будто бы можно добывать и сохранять как прочие школьными сведениями. Пагубно положение, когда университеты и со своей стороны воспринимают этот образец, оказываясь в этом случае лишь продвинутыми школами, или когда в своем стремлении к тому, чтобы опрометчивым образом предстать академиями и сформировать в самих себе, словно в парнике, полноценных ученых мужей, через все более глубокое вникание в детали науки пренебрегают собственной обязанностью, состоящей в пробуждении всеобщего на-

учного духа и придании ему определенного направления. Пагубно и то, когда академии, захваченные партийным духом, пускаются в спекулятивные дискуссии, хотя столь же вредным является положение, когда академии – в облачении не слишком-то достоверного реального знания и с высокомерной пренебрежительностью к таким размоловкам, которым живой характер преподавательского воодушевления придает впечатление пристрастности, – мало заботятся о том, продираются ли сквозь эти спекулятивные исследования те, кого они собрали для обогащения наук, или же нет.

Но почему же так часто происходят такие недоразумения? Большею частью, конечно, ввиду недостатка внутреннего единства всего того, чем мы обладаем благодаря науке и что у нас есть для нее. Тот, кто живет лишь в *одной* из этих форм научного союза, тот – благодаря предрассудкам и в забвении того, что для него ранее представляли другие формы, – чрезвычайно легко может полагать их ничтожными, свою же форму будет стремиться сделать абсолютной. Эти предрассудки обнаруживаются повсеместно. Что может быть привычнее ситуации, когда академические ученые смотрят свысока на учителя как на некоего неудачника, обреченного нести тягостное бремя; как на того, кто лишь ради выполнения своего долга вынужден приучать себя к педантичному соблюдению мелочей и кто, зажатый в преддверии науки, навсегда-де лишен высшего наслаждения ею? Что может быть привычнее, чем ситуация, когда университетского преподавателя они рассматривают как некоего – пусть мыслящего и более высоко – школьного учителя, который словно находится в их услужении и предназначен для насаждения наук, как их ему передают академические ученые, и для смиренного следования ее движению, словно поступи некой бессмертной? Так и школьный учитель, в свою очередь, норовит академических ученых ославить как бездельников; они-де меньше трудятся в сравнении с ним для расширения царства наук; и жалуется на хвастливость и неблагодарность университетских преподавателей, которые-де зачастую губят ту лучшую половину из всего того, что было им сотворено. Университетские же преподаватели, со своей стороны, демонстрируют свое пренебрежение к школьным учителям – как таким, кто не может оторваться от букв и которым дух их собственной науки большей частью остается чуждым; академии же они изображают как – находящиеся

на чужом довольствии или достойные жалости – учреждения для назойливых, лишь по недоразумению получивших известность или отживших свое ученых. И как же это все искажено! Знающий свое дело руководитель ученой школы, в противовес тому, что ему всегда приходилось выполнять, должен обладать и даже руководствоваться способностью обзирать целое, благодаря чему он своей персоной и репрезентирует академию; он нуждается в такой же самой научной рассудительности, в таком же чистом духе наблюдения, как и тот, кто содействует дальнейшему развитию науки, а развитие молодежи, которое он направляет, пожалуй, труднее осуществить, чем какое-нибудь отдельное исследование. То, как академический ученый в одиноких размышлениях должен взвешивать все имеющиеся результаты, задействовать все предположения и таким образом способствовать новым открытиям и то, как университетский преподаватель должен, постоянно вращаясь по одному и тому же кругу, уживаться с тянущейся к познаниям молодежью и всеми способами побуждать ее интерес – все это, конечно, весьма различающиеся занятия, но, исходя из одного, рассматривать другое как нечто гораздо менее ценное может лишь тот, кто не связывает их друг с другом. С этим никогда не сталкивается выдающийся ученый. Ведь и самый тихий и прилежный исследователь как раз в свои самые счастливые мгновения – в мгновение открытия, которое всякий раз подводит к новому и более живому созерцанию целого, – должен ощутить потребность к живейшему и вдохновенному сообщению и желание попытаться излить себя в духе и на благо молодежи. И ни один значительный университетский преподаватель, пожалуй, не может сколько-нибудь долгое время достойно занимать свою кафедру, не сталкиваясь с исследованиями и задачами, заставляющими ощутить то великое значение объединения, которое оказывает любую возможную поддержку и дает опору всякому на его научном пути. Но чтобы все и всегда могли получать это обоснованное и взаимное признание их значения, должна была бы быть учреждена более четко очерченная общность между публичными образовательными учреждениями; образцовые школьные учителя, университетские преподаватели и академические ученые должны сообща возглавить научные дела, и тогда и всех остальных ученых будет все больше охватывать подлинный общий дух их общего предмета.

Происходит ли это? – спросите вы. Разве государство не объединяет ученых из всех этих различных классов в рамках управляющих советов, благодаря которым оно и осуществляет задачу публичного образования? Конечно. Но как государственный служащий, он объединяет их с другими деловыми людьми – в свойственной для него, но чуждой для самих ученых форме – в целях надзора, благодаря которому все всегда рассматривается преимущественно в его отношении к государству. Исходя из этого появляется совсем другой взгляд на отношения этих учреждений; и чем больше у таких обремененных чиновничьиими обязанностями ученых перевешивают их задачи государственного служения, тем легче – и вполне естественным образом – переносят они потом этот взгляд на собственную научную сферу действий, оценивая все и обращаясь ко всему в соответствии с тем, как это непосредственно влияет на государство, и как учит опыт, – конечно же, не на пользу духовного совершенствования. Для всего движения новоевропейского образования характерно, что правительства поощряют также и науки и проводят мероприятия для их распространения так, как это обычно имеет место с искусствами и умениями всякого рода. Но здесь, как и везде, наступает время, когда такая опека прекращается. Разве не должно оно постепенно наступать и в Германии, и, по меньшей мере, в ее протестантской части разве не ощущается желание того, чтобы государство предоставило науки самим себе, отдало бы в полное распоряжение ученых все внутренние учреждения, сохранив за собой лишь экономическое управление, полицейский надзор и наблюдение над непосредственным воздействием этих учреждений на государственную службу? Академии, которым правительства всегда доверяли возможность непосредственно влиять на их цели, издавна ощущали большую свободу и ее благотворное воздействие. Однако школы и университеты, чем дальше, тем больше, страдали от того, что государство рассматривало их как учреждения, в которых науки должны развиваться не ради их самих, но ради него; от того, что оно превратно понимает и препятствует их естественному стремлению полностью формироваться по тем законам, которые требует сама наука, опасаясь, что, если предоставить их самим себе, то в бесплодном потоке учения и обучения, ведомого лишь чистой любознательностью и чрезвычайно удаленного от жизни и полезного приложения, будто

бы исчезнет скоро и всякое желание действовать и никто бы не захочет более заниматься гражданскими делами. Это уже долгое время, видимо, являлось главной причиной того, почему государство столь сильно настаивает на собственном способе обращения с этим предметом. И действительно, если верить речам, которые до сих пор ведутся некоторыми философами, а они умеют увлечь молодежь, нельзя отрицать того, что они удерживают всех своих учеников от гражданской деятельности. Но почему так должно оставаться и зачем приписывать этому преходящему увлечению столь устойчивое влияние? Ведь об этом говорят испокон веков, но и испокон веков эти молодые люди, учась у мудрых учителей, из школ устремлялись непосредственно в залы судов и управляющие палаты для оказания помощи во властных делах. Созерцание и действие, если они и противоречат друг другу, все-таки неизменно действуют рука об руку; отношение между теми, кто посвящает себя чистой науке, и всеми остальными, определяет сама природа, неизменно правильно и соразмерно. Чтобы навсегда успокоится и признать, что государство имеет достаточный задел благодаря всем тем преимуществам, которое лишь оно одно и способно приобрести, а также благодаря той мощи, с которой политический талант, где бы он не находился, всегда сумеет пробиться, достаточно лишь сравнить огромное скопление тех, кто прошел через школы и университеты, с незначительным числом тех, кто, в конечном счете, образует теперь академии того или иного народа, и увидеть, как много из последних стали еще и видными государственными служащими. Если же, однако, ложными опасениями и основанными на них распоряжениями государство питает эти недоразумения в среде ученых мужей, занятых делом распространения науки, то школы теряют свою основательность; в университетах главные предметы оказываются задушенными множеством второстепенных; академии теряют уважение в той мере, в какой они обращаются лишь к непосредственно полезным вещам; государство же само надолго лишает себя существеннейших преимуществ, предоставляемых науками, ведь чем дальше, тем больше будет сказываться отсутствие тех из них, что способны постигать и осуществлять Великое, цепким взглядом вскрывать корни и взаимосвязь всех заблуждений.

Перевод А.Ю. Антоновского

Содержание

Предисловие	3
<i>А.Л. Никифоров</i>	
Виды значения и понимание.....	7
<i>И.Т. Касавин</i>	
Река знания: о понимании как функции инфраструктурной среды.....	28
<i>О.Е. Столярова</i>	
Перевод и понимание: логический позитивизм, постпозитивизм, прагматизм	41
<i>Л.А. Маркова</i>	
Понимание, а не познание окружающего мира	64
<i>А.Ю. Антоновский</i>	
Понимание в научной коммуникации	80
<i>Т.Д. Соколова</i>	
Эпистемические нормы и проблема понимания	108
<i>Е.В. Вострикова</i>	
Значение индексикальных выражений	119
<i>П.С. Куслий</i>	
Проблема четвертого прочтения сообщений о верованиях	139
<i>А.В. Мигла</i>	
Значение и понимание литературного текста	157
Приложение. <i>Фридрих Шлейермахер</i> . Об отношении научного объединения к государству (перевод А.Ю. Антоновского).....	174

Научное издание

Понимание в кросс-культурной коммуникации

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

Художник *Н.Е. Кожина*
Технический редактор *Ю.А. Аношина*
Корректор *А.А. Гусева*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 30.09.14.
Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 12,5. Уч.-изд. л. 10,47. Тираж 500 экз. Заказ № 20.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН
Компьютерный набор: *Т.В. Прохорова*
Компьютерная верстка: *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН
119991, Москва, Волхонка, 14, стр. 5

Информацию о наших изданиях см. на сайте Института философии:
<http://iph.ras.ru/arhive.htm>